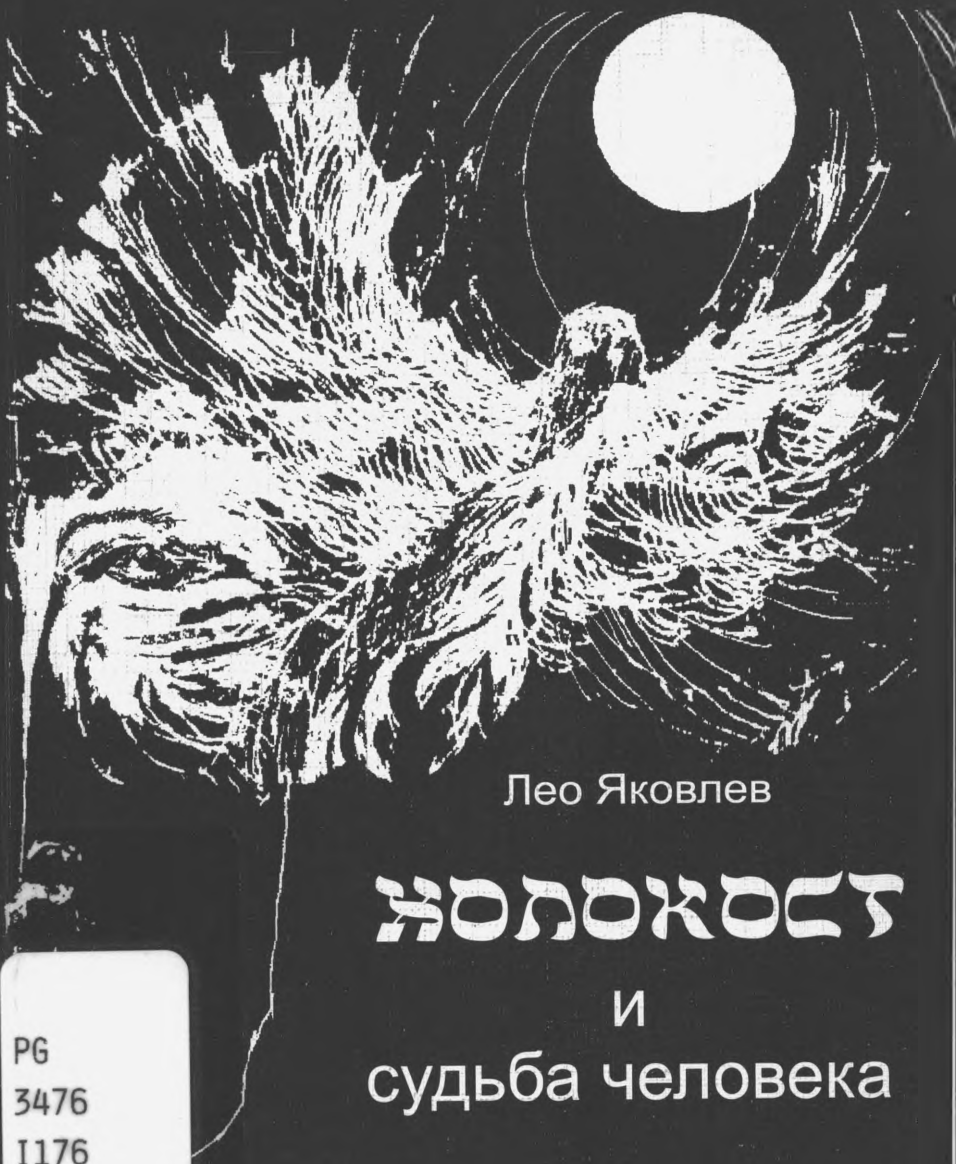


Лео Яковлев

ХОЛОКОСТ и судьба человека

PG
3476
I176
K5
2003

Лео Яковлев

Холокост и судьба человека

Харьков
«Каравелла»
2003

ББК 84Р1-44
Я47

Sponsored by the Hanadiv Charitable Foundation.
Эта книга издана при финансовой поддержке благотворительного фонда Ханадив.

Напечатана при содействии фонда «Еврейский культурный центр Бейт Дан» и Харьковского еврейского культурно-спортивного клуба «Маккаби».

Художник обложки *Б. М. Каган*

Яковлев *Лео*
Я47 Холокост и судьба человека. — Харьков: Каравелла, 2003. — 176 с.
ISBN 966-8019-09-1.

Лео Яковлев — харьковский писатель, автор романа «Корректор», повести «Антон Чехов. Роман с евреями», многих рассказов и биографических очерков, опубликованных в Украине и за рубежом. Эта книга рассказывает нам о судьбах евреев в разные периоды XX века и о личностях — «творцах» Холокоста. Это «роман-размышление» о взаимодействии Добра и Зла, олицетворением которого стал Холокост, и о неотвратимости возмездия за содеянное зло.

Для широкого круга читателей.

ББК 84Р1-44

ISBN 966-8019-09-1

© *Лео Яковлев*, 2003.
© Б. М. Каган, обложка, рисунки, 2003.

Слово о «молчании Бога» (вместо вступления)

Господи! Путеводи меня в правде Твоей,
ради врагов моих; уровняй передо мною путь Твой.
Пс. 5.9

Со времен Маймонида еврейская историческая концепция охватывает такие сферы исторических исследований, как теодицея и Провидение в истории. Восемь веков, прошедшие со дня кончины великого философа, убедительно подтвердили его мнение о непреходящей важности этих факторов. События еврейской истории постоянно заставляют нас задумываться и о Божественной воле, и о мере Божественной справедливости. События же 1933—1945 годов на европейском континенте существенно повысили внимание историков к этим мистическим аспектам идеи и философии еврейской истории, и в первую очередь — к истории Холокоста.

Где бы и когда бы ни обращались к истории Катастрофы, постигшей евреев Европы, неизменно возникает вопрос о «молчании Бога», оставившего без Своей помощи жертвы геноцида, и о Возмездии за содеянное.

Вероятно, на самой постановке этих вопросов продолжает сказываться первобытное антропоморфное представление о Высшем Разуме и о Его оперативных возможностях. Учитывая же Его энергоинформационную основу, трудно представить себе ситуацию, в которой Его вмешательство в дела человеческие было бы скорым и явным...

Эйнштейн говорил, что, когда он думает о Вселенной, в открывающейся ему картине мироздания, в ее гармонии он постоянно ощущает присутствие Бога. Близки к его словам и высказывания историков, обращающихся к всеобщей истории человечества, например: «Люди, присматриваясь к историческому материалу, во-первых, видели какую-то целесообразность, какую-то внутреннюю закономерность, какую-то

UNIVERSITY OF WASHINGTON LIBRARIES

логику в истории, но, с другой стороны, они чувствовали невозможность осмыслить эту логику» (Е. Тарле, из стенограммы лекции в Психоневрологическом институте в Петербурге, 1908 год).

И все-таки пути Господни неисповедимы, но не бесследны, и эти следы при внимательном прочтении истории человечества могут быть обнаружены. Древние индийцы, анализируя причинно-следственные связи давних событий, ввели в свой обиход понятие «Карма», отражающее, в частности, отставание во времени Возмездия от связанного с ним события-причины.

В поэтической форме эта же мысль содержится в известной мудрости о мельницах Господних, жернова которых мелют медленно, но мелко.

Достаточно убедительным примером кармического последействия является судьба дома Романовых.

Началом царствования этой династии стала публичная казнь на Сухаревке ребенка — «царя Ивана Дмитриевича», сына Мнишек. Ребенок был повешен, но его массы не хватило, чтобы затянулась петля, и он остался висеть живым, содрогаясь от боли и холода (шел снег), пока не умер, а довольный народ и его новые правители отправились отметить пьянкой падение Рюриковичей и избрание на престол трусливого и глупого Михаила Романова.

Кармическим ответом на это изначальное преступление династии была ее кровавая история: убийства отцами детей, детьми — отцов, женами — мужей и мужьями — жен, кровосмешение, ранняя гибель основной династической линии и переход власти к одной из боковых ветвей. Первыми признаками приближающегося конца стали суицидные отклонения у монархов — уход или самоубийство Александра I, самоубийство Николая I, игра со смертью Александра II, беспробудный алкоголизм Александра III.

В судьбе же семьи последнего представителя династии имеются прямые кармические указания на приход Возмездия за преступления рода: то же убийство ребенка, которому в других вариантах Судьбы предстояло законно наследовать русский престол, как и убитому Романовыми сыну Мнишек (кстати, благословенному на царство митрополитом ростовским Филаретом — в миру Федором Романовым — дядей Михаила), и связь начала династии с Ипатьевским монастырем, а ее конца — с Ипатьевским особняком.

Автор этих строк, в отличие от многих из тех, кто из «пламенных большевиков» стал теперь «русским патрио-

том», и при коммунистическом режиме не видел логического, а тем более нравственного оправдания убийству семьи Н. Романова, но, вероятно, на том уровне, где правит Карма, законы Возмездия основываются на другой логике и другой нравственности, для которой сразу же и прочно забытое людьми убийство какой-нибудь еврейской семьи в Кишиневе, осуществленное погромщиками с именем царя на устах, с иконами и хоругвями и под патронажем регулярной царской армии (чтобы «поганые жиды» не обидели своих убийц), на которое самодержец не счел возможным обратить свое императорское внимание, не говоря уже о соболезновании этим своим убитым согражданам, стало последней каплей, решившей судьбу династии. Ибо перед Господом убитая гражданами России семья российского гражданина Романова ничем не лучше и не хуже, чем убитая такими же гражданами России семья какого-нибудь, не по своей воле ставшего российским гражданином, Циперовича из Белостока.

«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека»,— сказал Господь (*Бытие, 9.6*).

Не менее четко просматриваются в истории человечества кармические последствия трагических событий из близкого и далекого прошлого евреев.

Начнем с уже набившего оскомину от частых напоминаний примера исторических последствий расправы с евреями и их изгнания из Испании, с которыми связывается упадок и превращение этой великой мировой державы на заре нового времени во второстепенную и нищую европейскую страну.

Не кроется ли та же непонятная людям высшая логика в трагической судьбе украинской государственности, в историческом основании которой лежало, увы, нераскаянное, организованное взбунтовавшимся польским шляхтичем Хмельницким массовое убийство с целью грабежа четырехсот тысяч польских евреев — женщин, детей, стариков и безоружных мужчин?

Да и уже упомянутый в связи с судьбой Романовых государственный терроризм в отношении евреев в России второй половины XIX века имеет кармические связи с рядом последующих событий мировой истории. В российской хронике конца XIX — начала XX века это был ответный террор народовольцев, эсеров и т. п. в отношении представителей администрации государства, ПЕРВЫМ преступившего нравственные законы. В контексте же мировой истории — это были отдаленные на одно-два поколения последствия вызванной русским государственным терроризмом массовой эмиграции евре-

ев из западного и юго-западного краев империи. Около полумиллиона евреев, покинувших тогда, под угрозой смерти и насилия, земли, на которых они жили за много сотен лет до того, как были захвачены Россией, стали мощной интеллектуальной и производительной силой... Освободившись от рабства и унизительных ограничений, их потомки стали учеными и изобретателями, профессорами и деятелями культуры, заняли достойное место в деловой элите и среди создателей новых технологий... Их энергия в своей совокупности явилась одним из источников того прогресса, который сделал США ведущей мировой державой, уверенно оставляющей позади Россию, подарившую ей многоцветье человеческих талантов и душ.

Переходя к трагическим событиям еврейской хроники середины XX века, когда резкое ускорение исторических процессов не могло не привести к соответствующему ускорению кармических последствий, нельзя не отметить позорного для евреев участия в мощном российском криминальном движении — в большевизме. Примерно в то же время один из известных сионистов выдвинул парадоксальный, но мудрый тезис предельного равноправия с другими народами — право евреев на своих мерзавцев и негодяев. Именно эта категория личностей, имеющихся в каждой нации, была востребована большевизмом. Стремление евреев к большевизму не было массовым, как это пытаются изобразить новые русские «патриоты». Наоборот, в своем большинстве евреи не приняли революцию и русский социализм, разрушившие их культуру и уклад, и это неприятие вызвало новый поток эмигрантов, а оставшиеся — первыми в «Союзе» ощутили национальное угнетение (закрытие еврейских школ, газет, театров, «выжимание» в дальневосточную резервацию и прочие антиеврейские мероприятия на государственном уровне).

В услужение к большевикам, главным образом, пошел еврейский люмпен, лица, страдавшие комплеком неполноценности, и просто криминальные элементы. Этот характер «еврейского пролетариата» отражен в революционной романтике Багрицкого и даже в известных одесских куплетах, при сочинении которых безымянный автор использовал уголовный жаргон, имевший на юге империи немало заимствований из идиш:

Еврей, зуктер, живет себе недаром:
Он строит, махтер, рай свой на Земле,
Там Сарра, зуктер, станет комиссаром,
А Хаим, махтер, будет жить а Кремле.

В год смерти Ленина евреев среди большевиков было, как следует из доклада Сталина очередному съезду, менее 7 процентов, а около 80 процентов партии составляли великороссы. Среди больших и малых вождей процент был повыше и достигал 12 процентов. Но при просмотре газет того времени создается впечатление, что евреев в большевистской администрации и в самой «партии» было не менее 90 процентов. Этот подозрительный «феномен» нельзя объяснить одним только исконно присущим местечковому люмпену бахвальством, так как уже тогда советская пресса, при кажущейся свободе, была управляемой и жестко цензурируемой. Имеется лишь одно объяснение этому явлению: сталинская шайка, уже сформировавшаяся в недрах большевистских криминальных структур, но еще не выплывшая на поверхность, контролировавшая практически всю дееспособную часть администрации и прессу, целенаправленно культивировала миф о «еврейском засилье», чтобы потом списать на это «засилье» все непопулярные решения и действия того периода.

Знали ли они статью Бодуэна де Куртене в сборнике «Щит» о странностях русского языка, согласно которым если украл русский, то нужно говорить: «Украл вор», а если вор был евреем, то следует сказать: «Украл еврей», или не знали — неизвестно, но то, что после такой «рекламы» во всех их преступлениях будут обвинять евреев, они чуяли нутром. Так оно и случилось.

Кармические последствия деятельности еврейской прослойки в русском большевизме многократно отразились в еврейской истории XX века. Упомянем лишь важнейшие из этих отражений:

в личном плане — практически полное уничтожение еврейской прослойки в «ленинской гвардии», часто — с семьями, причем первые карательные акции осуществляли те «гвардейцы», чья очередь еще не подошла, а затем — полное уничтожение культуры «идиш» и угроза физического истребления народа в 1952—1953 годах;

в общеисторическом плане — формирование убедительной для европейского обывателя антиеврейской аргументации о разрушительном начале в еврейском мировоззрении, содержащем угрозу уничтожения европейской культуры и самой жизни в Европе и мире.

Именно эта «идея» «овладела массами и стала материальной силой» в Германии и была поддержана многими представителями других европейских наций, став «идеологичес-

ким» обоснованием Катастрофы и переведя одних в категорию народов-убийц, а евреев — в категорию народа-жертвы.

Но неизбежность кармических последствий не означает прощения тем, кто считает себя вправе заменять Провидение и действовать от Его имени. Кармическим ответом немецкому народу было возвращение к нему сотворенного им Зла: террор и самосуд, грабежи и убийства, насилие жен и дочерей на глазах их близких, гибель подростков и другие беды пришли в его дом. К несколько запоздалой чести немецкого народа, следует отметить, что он сумел разорвать, казалось бы, бесконечную цепь кармических причинно-следственных связей и приход Возмездия принял безответно.

Не менее убедителен приход Возмездия в личном плане: Гитлер в свои последние часы сполна прошел путь, им же уготованный другим,— его обгорелые кости грызли так любимые им за рабскую покорность собаки, а его пепел смешался с собачьим дерьмом. Геббельс, получивший образование под опекой еврейской семьи и затем отдававший все свои силы призывам к массовым убийствам еврейских женщин и детей, перед самоубийством СВОИМИ РУКАМИ убил свою жену и своих детей, и смерть этого подонка сама по себе есть четкое указание на приход Возмездия, которое просматривается и в личных судьбах многих других выродков из гитлеровского окружения.

Выделение из, казалось бы, бессмысленного хаоса событий и пристальное изучение причинно-следственных связей между ними в мутном потоке современной информации позволяет мысленно прикоснуться к неясным отражениям замыслов и свершений Высшего Разума, услышать ЕГО ответ на Зло. И, как уже говорилось, ответ этот не всегда находится сразу, иногда возникает впечатление, что Кто-то ожидает переполненной чаши, но ответ этот всегда неотвратим. И всегда по этому ответу (следствию) можно установить причину.

Недавно московские журналисты почтили память, кажется, 27 своих коллег, убитых киллерами за последние пару лет. К этой цифре потерь можно добавить еще несколько сот представителей других профессий. В поисках причин этого следствия вспомним волну международного терроризма 20—30-х годов, прокатившуюся по Европе. Ее источник тогда находился в Москве, а наемные убийцы слетались отовсюду, и кого только не было среди них: идейные евразийцы, деятели «красной прессы» и просто уголовники, и здесь они себя чувствовали отважными героями, как наемник, убивший

Троцкого. Правда, у многих этот счастливый период длился недолго и заканчивался у стенки.

Может быть, довоенный московский террор сам по себе был инструментом Возмездия? Во всяком случае, расплата запаздывала. Но когда индивидуальная охота подонков за человеческими жизнями сменилась массовыми акциями — положение резко изменилось. Переломной вехой на этом пути оказалось (может быть, это субъективное впечатление) создание Насером и корреспондентами «Правды» (типа академика Примакова) в 1964 году Организации освобождения Палестины.

Это была странная «организация»: она вполне легально существовала на территориях, оккупированных насеровским Египтом и Иорданией, занимавшими тогда уже 90 процентов территории, выделенной арабам ООН. Целью ее был террор на территории Израиля — массовые убийства еврейских детей и женщин «боевиками», боявшимися тени вооруженного солдата.

В это же время поток бесплатного московского оружия (стреляющего до сих пор) устремился и в другие районы Земли, где доблестные выродки и отбросы общества терроризировали мирное население во имя уготовленного «авангардом передового человечества» светлого будущего без капиталистов, империалистов и сионистов.

Это, вероятно, и стало последней каплей, и всего лишь через неполных 9 лет после создания ООП терроризм вернулся в Москву: первые взрывы прогремели близ источника Зла, а затем появились невинные жертвы и в московском метро...

Что касается внутреннего терроризма — истребления собственных граждан по национальному признаку, корни которого следует искать в колониальных захватах Российской империи после воцарения Романовых, в государственных погромах и депортациях, то наиболее ярко Возмездие дало себя знать Чечней, где совместилось историческое и личное, ибо в ней будет отомщен каждый ребенок, за которым на Кавказе и в Крыму, как за диким зверем, охотился мудрый и заботливый «старший брат».

Ранее говорилось о почти полной невозможности непосредственного влияния Высшего Разума (энергоинформационного поля, например) на конкретные действия людей. Однако в истории человечества все-таки имеются поразительные случаи, которым трудно подобрать какое-либо объяснение, кроме вмешательства извне. В новейшей истории к таким случаям могут быть отнесены загадочные и очень своевременные смерти Сталина и Насера.

Конец 1952 года был периодом резкой активности нашего «товарища». Его истомившаяся душонка вампира замирала в предвкушении новых потоков крови. В результате его твердого нажима уголовная бражка Маленкова наконец решилась завершить мокрухой бесконечно тянувшийся «процесс» Еврейского антифашистского комитета, добывшего в войну в Штатах миллионы долларов для фронта, а его блестящая, как ему казалась, идея с «убийцами в белых халатах» вплотную приблизила к одной из главных целей его жизни — к окончательному решению еврейского вопроса в Восточной Европе (и здесь он обойдет своего друга Адольфа). Сводки о подготовке эшелонов для депортации евреев и организации для них концлагерей в Сибири и на Дальнем Востоке он получал лично и регулярно.

Мировое общественное мнение Сталина не смущало — для него уже заканчивалось приготовление (не без помощи евреев — Харитона, Зельдовича, Кикоина и прочих) сверхмощной водородной бомбы, по части которой, как ему утешительно доносили, он обогнал США на несколько лет.

Но вдруг отлаженная машина стала сбиваться на холостой ход.

Еще вовсю строились бараки, отрабатывались маршруты эшелонов, процедуры их погрузки и разгрузки, доблестные исполнители готовили свои широкие груди под ордена (напомним, что за одно только убийство Михоэлса руководивший им лично Сталин выделил своим помощникам пять орденов Отечественной войны I степени!!!), уже было проведено собрание дрессированных евреев для оформления просьбы еврейского народа депортировать его, естественно, для спасения куда-нибудь подальше, к чертям собачьим, и благодарности лично т. Сталину за очередную, после подставки для истребления полутора миллионов евреев Белоруссии, Украины и Прибалтики руками нацистов, незаслуженную милость к их никудышным и зловредным соплеменникам, не понимающим величия «гения всех времен». Все шло как по нотам, но... докладывать в один прекрасный день конца января 1953 года оказалось некому: Сталин вдруг исчез из поля зрения, а месяц спустя и вовсе сдох при подозрительных обстоятельствах. И в самих этих обстоятельствах, когда «ближайшие соратники», которых он, правда, собирался (но не успел) прикончить заодно с евреями, оставили его, как ненужного пса, подыхать на полу на подстилке, и в судьбах его детей грозно проступает облик Возмездия.

В отличие от Сталина Насер не был, надо полагать, неиссякаемым источником Зла. Он просто запутался

в политической паутине середины XX века. Может быть, он по недостатку времени не читал Хайяма («Общаясь с дураком, не оберешься срама...»), потому что именно неразборчивость политических связей сделала его причастным к силам Зла. Сначала был Гитлер, называвший его народ «лакированными обезьянами», потом московские друзья, менее всего симпатизировавшие его идее единого арабского государства от Аравийского залива до Атлантического океана и подталкивавшие его к войне с «общим сионистским врагом».

Сокрушительное поражение в войне 1967 года сделало его посмешищем среди своих и чужих, и идея победного реванша стала манией последних лет его жизни. Его смерть не носила характер Возмездия: вероятно, там, где просчитывают варианты будущего, он просто оказался на скрещении путей к третьей мировой войне, грозившей уничтожением человечеству, и его уход с жизненной арены был предрешен.

До сих пор приводились примеры, связанные с жизнью и смертью людей, однако в недавнем прошлом есть событие, которое можно считать нравственным уроком высших сил: имеется в виду предотвращение Природой попыток подонков устроить танцплощадку над костями жертв Бабьего Яра.

Довольно четкие признаки нравственного урока и предостережения в мировом масштабе имеет и загадочная авария на Чернобыльской АЭС, причины которой пока не определены. Напомним, что ЧАЭС расположена в сотне километров от Бабьего Яра, в центре района, где особенно свирепствовал Холокост, у могил цадиков, среди которых есть два моих предка по отцовской линии.

Кармические последствия могут выражаться не только в том, что произошло, но и в том, что не произошло, особенно когда Зло обрывает связи прошлого и будущего, сосредоточенные в женщинах и детях. Об этом — гениальная повесть Гоголя «Страшная месть» — о неотвратимом и вечном Возмездии за убийство ребенка. Гоголь, вероятно, не знал об убийстве ради утверждения Романовых плачущего трехлетнего «царя Ивана Дмитриевича», спрашивавшего тащивших его к виселице пьяных вонючих козлов: «Куда вы меня несете?..» — об этом официальная российская историография старалась забыть, но вся внутренняя история императорского дома и его финал просматриваются в «Страшной мести».

Мы никогда не узнаем, кто из детей, не родившихся у убитых женщин, и из убитых детей был избран волей Провидения для передачи людям новой информации,

какой была бы эта информация и через сколько поколений она будет повторена людям.

Некоторые, признавая факт Возмездия, сетуют, что его жернова истирают не только тех, кто имел непосредственное или наследственное отношение к преступившим черту, но и людей, казалось бы, совершенно непричастным к тем изначальным событиям, за которые наступает расплата. Это так. Но может быть, и в этом есть знак Высшего Разума — Его указание на то, что если Зло где-то побеждает нравственность и человечность, то непричастных к борьбе с ним среди людей быть не должно и чье-либо бездействие в данном случае есть прямое содействие Злу.

И оплакивающие сегодня смерть дорогого им онкологического больного, или больного СПИДом, или жертву Чернобыля должны постоянно знать и помнить о том, что те, кто мог избавить человечество от этих бед, не появились на свет Божий оттого, что бесчисленные тонкие нити связи поколений были насильственно, в нарушение законов Провидения, разорваны выродками-убийцами в Освенциме, Треблинке, Бабьем Яру и других местах великих трагедий, где до своего рождения превратились в прах и пепел тысячи гениальных людей, чей предопределенный приход был сорван силами Зла.

Бог не молчит, но Его нужно уметь слушать.

Вероятно, лучше всего голос Бога и воля Провидения слышны и проявляются в конкретных человеческих судьбах людей, которые, казалось бы, в непреодолимых обстоятельствах оказывались на грани жизни и смерти, в частности тех, кто пережил Холокост, подобно главному действующему лицу этого повествования — Люсу Флинкеру.

Рождение замысла и Судьба романа

Замысел исторического романа, сразу получившего в моем представлении название «Endlösung» — «Окончательное решение», возник у меня в 1966—1998 годах, когда я участвовал в одном из мероприятий по сбору аудио- и видеоинтервью у евреев, оказавшихся в период Второй мировой войны на территориях, оккупированных нацистами, и выживших, несмотря на это обстоятельство, сулившее им, казалось бы, неотвратимую гибель.

Мои беседы с этими людьми часто касались событий далекого прошлого — тех разрозненных эпизодов и отрывочных сведений, почерпнутых из рассказов умерших или погибших в войну родителей и дедов и крайне редко имевших хоть какое-нибудь документальное подтверждение, но, тем не менее, оказавших непосредственно или через участь предков некоторое влияние на Судьбу человека, сидевшего перед видеокамерой.

Для меня это был наглядный пример причинно-следственных связей, существующих в хаосе, именуемом жизнью. На моих, как говорится, глазах Судьба конкретного человека, как фигура в калейдоскопе, складывалась из множества «камушков» — судьбоносных событий, иногда самого общего характера, и я мог себе представить, как необратимо изменилась бы фигура Судьбы, если в ней заменить хотя бы один из этих слагающих ее камушков.

Конечно, на судьбах наших современников в какой-то степени сказываются и дела очень давно минувших дней — всемирного потопа, Исхода, падения Карфагена, инквизиции, памятных эпидемий чумы, наполеоновских войн и т. д. и т. п., но так же, как свет яркой звезды слабеет по мере удаления от нее наблюдателя в бесконечном пространстве, так и влияние деяний наших забытых предков на нынешнее мироустройство ослабевает с течением времени, и, принимаясь

за исследование какой-либо конкретной судьбы нашего современника, следует прежде всего установить временные рамки этого художественного исследования.

Эта неизбежная проблема одновременно с замыслом романа «Окончательное решение» встала и передо мной, и после недолгих размышлений, основываясь на опыте моей собственной семейной истории, я решил ограничить глубину погружения в предысторию главного действующего лица первыми годами XX века, когда появились на свет и мои, и его родители, а наши деды были, можно сказать, в расцвете лет. О прадедах же, как известно, среднестатистический бывший советский человек, чье детство было прервано войной, а юность пришлась на середину минувшего века, имел весьма смутное представление.

По первоначальному замыслу роман «Окончательное решение» должен был состоять из трех частей.

Первая часть посвящена тем временам, которые до сих пор на необъятных просторах бывшего Советского Союза обозначают словами «до революции». В этой части по вполне понятным причинам главный герой еще не мог появиться. Более того, даже его предки некоторое время находятся за пределами текста, посвященного историческим лицам и событиям, которым было суждено оказать влияние на течение их жизни, а следовательно, и на Судьбу их потомков. Опустив множество мелких происшествий, я остановился лишь на ряде наиболее значительных факторов — таких, как, например, деятельность П. Столыпина и связанные с нею, по крайней мере временем, явление усовершенствованной формы «Протоколов сионских мудрецов» и фальсификация «ритуального процесса», получившего наименование «дело Бейлиса» и опозорившего Россию в глазах просвещенного мира.

Эти грязные провокации, осложнившие и без того непростую межнациональную обстановку в России, инициировались возглавляемым П. Столыпиным Министерством внутренних дел империи, и «отмазать» его от этих гнусностей, зная его дотошность в делах государственной важности, просто невозможно. Да и выступление его братца в «Новом времени» с предложением создать для евреев концентрационные лагеря вряд ли противоречило убеждениям этого «преобразователя».

К числу менее заметных событий в «мирные», то есть предшествовавшие Первой мировой войне, годы, но имевших огромное значение для Судьбы еще не родившегося главного героя романа «Окончательное решение» принад-

лежит политический выбор Гитлера, избравшего юдофобию в качестве своего главного инструмента на пути к вершинам власти, сделанный им в 1913 году, и имевшее место в том же году крушение надежд Сталина на служебную карьеру в царской охранке, которое заставило «гения всех времен и народов» для достижения все той же верховной власти сосредоточиться на делах «революционных».

Внутренние обстоятельства в Российской империи, Первая мировая война, Октябрьский переворот и последовавшая за ним Гражданская война срывали людей с «насиженных» мест в поисках лучшей доли, а чаще всего — просто от голода и страха за свои жизни.

Родители главного действующего лица появляются в третьей главе, однако их жизненные пути еще не пересекаются, и история их семей, таким образом, развивается параллельно. Все это бурное время — до середины двадцатых годов XX века заполнено жестокой борьбой за существование, в которой обе семьи несут потери. И если к моменту встречи будущих родителей семья Рахили, которой предстояло стать матерью героя этого романа, чудесным образом сохранилась, то семью Якова, его отца, время и невзгоды расплескали по разным городам и весям. И остался Яков один, как сказано в одной известной книге. И даже не знал Яков, что его отец был украинцем и что служил он по полицейскому ведомству в одном из старинных районов Тифлиса, где он как-то помог одному молодому грузину и представил его своему начальству, а потом, увидев его уже после революции на фотографии в газете среди красных вождей, скрылся в неизвестном направлении. Впрочем, со своим суровым и замкнутым отцом он не был близок и в память о рано умершей маме считал себя «чистым» евреем.

И спустил Господь Якову лестницу в образе семьи Рахили — по ней он и взошел в дальнейшую жизнь, которой посвящена вторая часть романа.

А началась семейная жизнь Рахили и Якова в полупустыне Северного Крыма в сельскохозяйственном поселении, сооруженном на средства «Агроджойнта» — американского фонда, созданного заокеанской еврейской общиной для обустройства евреев на земле. Там же у них родился сын Илья. В детстве он называл сам себя «Люса», и имя «Люс» осталось с ним на всю жизнь.

Казалось, что Люсу Флинкеру предстояло стать советским еврейским крестьянином, но неутомимый затейник — кремлевский горец прервал эту сельскую идиллию, отобрав

у людей земли все, до последнего зерна, а выживших загнал в колхозы. Наступил Голодомор.

Яков бежит с Рахилью и детьми в Харьков, а дед и бабка, чтобы не обременять молодых, остаются в селе и тихо угасают от голода и холода в страшную зиму тридцать третьего года.

В Харькове жизнь Якова и Рахили постепенно налаживается. Яков становится искусным электромонтером, они получают комнату в большой коммунальной квартире в центре города. Люс поступает в школу. У него появляются верные друзья — соседские мальчишки-однолетки. В окружающем большом мире тревожно, но в их маленьком квартирном мирке царит оптимизм, поскольку и радио, и газеты ежедневно обещают советскому народу мир и «светлое будущее», подкрепленное вечной дружбой с нацистской Германией: Гитлер и Сталин, не узнавшие друг друга в январе 1913 года в Вене, нашли, казалось бы, общий язык.

Но дружба их, как мы знаем, оказалась непрочной и закончилась 22 июля 1941 года. Окружающий мир, состоявший в представлении Люса и его сверстников из кинематографических «красных» и «белых», теперь, уже в реальной жизни, разделился на «наших» и «немцев», и эти «немцы» продвигались к Харькову.

Уже через месяц после начала войны сдача Харькова немцам где-то там, на вершинах власти, по-видимому, представлялась неизбежной, потому что с конца июля 1941 года началась эвакуация промышленных предприятий и особо ценных учреждений. По стечению обстоятельств семья Люса не могла покинуть город. Может быть, мать и отец Люса еще смогли бы, собрав все силы, совершить невозможное и покинуть город в последний предоккупационный день. Это можно было сделать пешком, как тогда, когда они бежали от голода через северокрымскую пустыню в Джанкой и далее — в Харьков. Может быть, им, столько раз обманутым «властью рабочих и крестьян», казалось, что советская пропаганда преувеличивает опасность, исходящую от нацистов, тем более что об их исключительных зверствах в отношении евреев говорилось шепотом на уровне слухов. В конце концов не одни они оставались в Харькове: в полупустом и полуразрушенном городе, лишенном продовольствия, в момент прихода немцев еще находилось почти четыреста пятьдесят тысяч человек.

Первые недели оккупации прошли для семьи Люса относительно спокойно. Новая власть хоть и вешала «партизан» и хватала заложников, но при этом не отделяла евреев

от остального населения. Никто не требовал от них ношения опознавательных знаков в виде звезды Давида или желтых повязок. Правда в середине ноября, почти через месяц после появления немецких солдат и военной техники на улицах Харькова, городская управа, заменившая разного рода «советы», произвела общегородскую перепись, во время которой фамилии евреев записывались отдельно — на желтых листах.

Это вызвало некоторую тревогу, но и после переписи ничего не изменилось. Стало лишь холоднее, потому что центральное отопление не работало, и голоднее, потому что небольшие запасы провизии, сделанные в последние предоккупационные дни, закончились. Начались пешие хождения «на менку» в близкие и дальние села, где еще можно было выменять продукты на одежду, посуду, домашнюю утварь и детские игрушки.

Однако через месяц после переписи под угрозой расстрела за неповиновение был объявлен сбор всех находившихся в городе евреев в указанных управой местах.

В числе более десяти тысяч человек, собранных в центре города и совершивших марш смерти на его далекую восточную окраину, была и семья Люса. Евреи — преимущественно женщины, дети и старики — были размещены в полуразрушенных бараках с разбитыми окнами, и тридцатиградусный мороз проникал туда через все щели. После десятидневных издевательств все обитатели этого лагеря смерти были расстреляны над глубоким оврагом, наполнившимся их телами.

Цепь случайностей позволила Люсу избежать этой участи, и он, потеряв отца и мать, остался один в мире, в котором он как еврей был приговорен к смерти. В этом мире он больше не был «членом коллектива», каким его хотел видеть советский строй. Этот мир разделился для него на две неравных части: он сам и все остальные. Он ощутил ответственность за свою жизнь, данную ему Господом во временное пользование, и он понял, что ему поручено свыше защитить этот великий Дар, на который, кроме как у него самого, ни у кого не было никакого права. Он был готов к помощи и своих, и чужих. И он был готов к любому предательству, потому что его уже один раз предали: страна, так упорно загонявшая его в «коллектив» и обещавшая ему «спокойствие наших границ», оставила его на произвол судьбы один на один со смертельным врагом, уже отправившим в небытие его мать и отца.

Так началась одиссея Люса Флинкера, одинокого пловца в океане насилия и страха, в котором все-таки

кое-где еще светились непогасшие звезды человечности. По этим звездам и сверял свой Путь в окружавшей его Тьме юный Люс Флинкер. Некоторое время соседи его прятали в Харькове. Потом он странствовал по Харьковской области, затем был возвращен в Харьков и побывал в харьковских тюрьмах. Оттуда путь его лежал на Запад: он попал в один из эшелонов, доставлявших в истощенный войной «тысячелетний рейх» свежую рабочую силу. Господь не покидал его и там: на дорогах нацистской Германии ему довелось увидеть и испытать многое, но жизнь свою он сохранил.

Конец войны поставил его перед выбором: попав в американскую зону оккупации, он в фильтрационном лагере получил предложение остаться на Западе. Но в момент этого судьбоносного разговора перед его внутренним взором предстало видение: солнечный морозный день. Он стоит на краю оврага, заполненного человеческими телами, припорошенными снегом, будто одним общим саваном, и из-под него, откуда-то из глубины этой огромной могилы, ему слышится тихий голос Рахили, называющий его имя. Он почувствовал, что обязательно должен туда вернуться. И отказался от западного варианта своего будущего.

Выбор Люса был, вероятно, правильным, потому что Господь и далее не покинул его. Ему удалось избежать еще одного концлагеря, на сей раз сталинского, который причитался подозрительным личностям из числа «советских людей», оказавшихся во время войны в Германии или в других странах, впоследствии освобожденных от нацистской оккупации. И поскольку возраст его к этому времени стал призывным, его одели в советскую военную форму. Военная служба задержала его в Германии еще на несколько лет, и только к концу сороковых годов он смог вернуться в Харьков.

Война отобрала у него самых близких людей, а с более дальними родственниками разорванные все той же войной связи восстановились не сразу.

И Люс, как некогда его отец, остался один. Конечно, были у него друзья, которым удалось пережить войну, были живы соседи, укрывшие его от нацистских шакалов и их местных прихвостней. И за пределами коммунальной квартиры его детства были люди, помнившие Якова и Рахиль. Но вся эта населенность мира не могла заменить ему тепло родительского дома, ибо он все еще был в том возрасте, когда мать и отец или хотя бы один из них были необходимы.

И он пошел к ним.

Был такой же ясный летний солнечный день, как день начала войны. Он вышел к хоральной синагоге, находившейся в двух шагах от его довоенной коммунальной квартиры. Эти «два шага» были первыми пройденными им вместе с Рахилью и Яковом на пути к вечной разлуке. Затем от синагоги, от «места сбора», он пешком через весь город прошел следующую часть их скорбного пути. От бараков, разрушенных и разобранных жителями предместья «на материал» для своих прохудившихся хат, остались только фундаменты. Люс постоял там, где он последний раз видел живыми отца и мать, и двинулся дальше по той дороге, по которой они одни, уже без него, веря и не веря в его спасение, прошли сами. В Дробицком Яру он уже не увидел ни тел, ни костей. Кто-то засыпал их землей, и теперь все — и края оврага, и его ставшее значительно менее глубоким дно — заросло бурьяном. «В степи под курганом, заросшим бурьяном»,— Люс вспомнил эту любимую песню довоенных мальчишек. И он почувствовал, как здесь, на краю древнего Поля, над ним пролетел ангел его новых дней.

А дальше была жизнь. И третья часть романа об этой его жизни. Люс Флинкер не стал великим ученым, писателем, музыкантом или еще бог знает кем. Судьба научила его довольствоваться малым, и он не обрекал себя на бессонные ночи, чтобы непременно получить хоть какое-нибудь, но обязательно высшее образование. Он, по сути дела, стал рабочим, каким был и его отец, и высшей его радостью стала радость бытия: близость с любимой женщиной, веселое застолье с друзьями, кружка пива или чашечка кофе в одиночестве, чтобы никто не мешал подумать о том, как прекрасен окружающий мир, и мысленно еще и еще раз поблагодарить Господа, продлившего его дни.

Конечно, были в его жизни в послевоенные годы и критические моменты, но Господь оставался с ним, и опасность отступала. Когда пришло время и Люс покинул этот мир, никому не пришло в голову провозглашать какие-либо пышные слова типа: «В его лице мы потеряли выдающегося!.. и т. д. и т. п.», потому что все знали, что ушел человек, проживший свою жизнь просто и достойно. И милость Господа, охранявшего его в пути, лишний раз свидетельствует о том, что всякая жизнь, Им созданная, законна и самоценна. В подтверждение этого Он предоставил Люсу возможность увидеть, как обратились в прах все начинания Гитлера и Сталина, проклятые имена которых витали над страданиями его близких и над его личными потерями.

Такова схематическая канва романа «Окончательное решение». За ее пределами осталось множество эпизодов и сцен, в которых перед читателем предстают различные исторические лица (кроме уже упомянутых здесь П. Столыпина, Сталина и Гитлера), чьи деяния в той или иной степени повлияли на Судьбу Люса Флинкера, и именно появление в романе этих вполне реальных персонажей, а также воссозданные в нем реалии охватываемого им времени позволяют автору считать свой труд историческим.

Первые три главы первой части этого романа были написаны мной сразу же после того, как приведенная выше схематическая канва всего повествования сложилась в моем воображении и я смог себе представить эту книгу в законченном виде. Однако потом из-за некоторых обстоятельств, казавшихся мне непреодолимыми, я прервал свою работу. В дальнейшем не менее непреодолимые обстоятельства, среди которых не последнее место занимала забота о хлебе насущном, не позволяли мне вернуться к этому труду. И в то же время выкинуть из головы этот сюжет я не мог. При этом меня «не отпускала» не предыстория семьи Люса Флинкера, а его жизнь.

Вообще говоря, определенного и единственного прототипа Люса Флинкера в реальной действительности не существовало. Ближе всех Судьба еврея, пережившего Холокост, которую я хотел воспроизвести в романе, походила на судьбу моего хорошего знакомого, почти друга, пережившего и гибель родителей в Дробицком Яру, и свое чудесное спасение, и скитания по оккупированной Восточной Украине, и уже не как еврей, а по подложным документам — тюрьмы, угон в Германию, освобождение и возвращение после армейской службы в Советской Армии. Все это в той или иной степени должно было отразиться в романе. Но не только это. Целый ряд эпизодов, поступков и ситуаций я собирался позаимствовать из жизни других известных мне людей и из моей собственной жизни, которая в свой довоенный период и в первые месяцы войны отличалась от жизни Люса Флинкера лишь возрастом и теми семью днями, отделявшими мой отъезд вместе с матерью в эвакуацию от дня вступления немцев в Харьков. Жили в моей памяти и рассказы об оккупации, услышанные мной в большой семье моей жены и от моих сверстников, находившихся в Харькове при немцах. Многих из них уже нет на свете, и я чувствовал себя их должником: я был последним, кто еще мог передать дальше все то, что я

от них узнал. И это знание, как пепел Клааса, стучало в мое сердце.

В конце концов я нашел выход: основное содержание второй и третьей частей романа я выстроил в виде отдельных датированных сцен. В результате получилось нечто среднее между идеей, сюжетом кинофильма и киносценарием. Я же назвал этот текст «киноповестью», дав ей название «Это случилось в XX веке».

Жанр киноповести потребовал определенного упрощения повествования, и поэтому некоторые сюжетные направления, намеченные в первых главах романа и в его схеме, приведенной выше, не получили равзития в «кинематографической» версии, а иногда и были просто изменены. Киноповесть «Это случилось в XX веке» стала, таким образом, самостоятельным произведением, отразившим авторские поиски выхода из лабиринта человеческих судеб.

В этот том, таким образом, включены три законченные главы романа «Окончательное решение» с «Интродукцией» — введением ко всему роману в целом, а также киноповесть «Это случилось в XX веке». Кроме Люса Флинкера в повествовании о его приключениях есть еще один главный герой, придавший его жизни после 1941 года тот особый смысл, который, я надеюсь будет понятен читателю после внимательного прочтения эссе «Слово о молчании Бога», открывающего эту книгу. Этот герой — Дробицкий Яр, и он заслуживает отдельного разговора. Поэтому завершается книга еще одним эссе — «Загадки Дробицкого Яра» — и краткой справкой о сегодняшнем состоянии этого малого уголка нашей большой Земли, ставшего одним из символов трагической истории еврейского народа.

Это случилось в XX веке!

Окончательное решение, или Жизнь и приключения Люса Флинкера

(первые главы исторического романа)

Интродукция

Некоторая часть человечества, почему-то считающая себя основной, отметила недавно окончание XX века и второго тысячелетия по принятому этой самой «частью» для себя календарю.

«Из-за злодея Тита» и автор, и его герой Люс Флинкер, которые должны были родиться и жить в Иерусалиме, пользуясь принятым там летосчислением, родились и прожили свою жизнь вдали от этого предназначенного им места, ведя иной счет своим годам. И по этому счету получилось так, что практически все события, не только составляющие жизненный путь Люса Флинкера, но и те, что задолго до его появления на свет определили его Судьбу, произошли в XX веке, и повествование о них начинается в первые годы ушедшего столетия.

Особенность уходящего XX века состоит в его таинственности, выражающейся в том, что многие его судьбоносные события не только не оставили четких архивных следов, но и совершенно не отразились в мемуарах современников. Впрочем, и самих воспоминаний о нашем недавнем времени написано крайне мало, к тому же большинство из них относятся к «заказным» политическим сочинениям, имеющим своей целью не прояснение, а наоборот, сокрытие и запутывание и без того темных проблем.

Эти обстоятельства создают огромные трудности для строгих исторических романистов и в то же время облегчают работу сочинителям, не считающим себя рабами документов. Один из таких достаточно раскрепощенных для своего времени писателей как-то прямо заявил: «Где кончается документ, я начинаю». Заметим, что эти его слова относились не к XX веку, а к тем благословенным временам, когда документировался почти каждый шаг не только царей, королей и императоров, но и любого даже весьма посредственного чиновника, офицера или просто помещика, раз в один-два года покидающего на месяц-другой свое любимое имение.

Сегодня же приведенную выше известную фразу исторический сочинитель может изменить так: «Где отсутствуют документы и свидетельства, я начинаю!» И наш век уже дал и продолжает давать образцы подобного сочинительства, заменяющего реальную историю.

Рассмотрим такой пример: когда незабвенного товарища Сталина спросили, куда делись тысячи польских офицеров, убитых по его личному распоряжению, кремлевский горец, уютно попыхивая трубкой и очаровательно улыбаясь в пушистые усы, сказал: «Нэ знаю. Говорят они всэ куда-то уехали».

Нечто похожее собирался сообщить в будущем бесноватый Адольф о нескольких миллионах еврейских женщин, детей и стариков, уничтоженных по его личному указанию отважными немецкими рыцарями.

Допустим на мгновение, что Сталина сменили на посту не большевик-расстрига Хрущев и расхлябанные застойники, а вереница «каменных жоп» типа Молотова. В этом случае слова товарища Сталина превратились бы в «исторический факт» и обросли бы «документами», а для убедительных свидетельств купили бы несколько аргентинских и бразильских поляков, чтобы те поведали миру, как они в свое время «всэ куда-то уехали».

Поскольку любые вожди при всей несхожести их характеров обладали и обладают примерно одинаковым уровнем умственного развития, то слова Адольфа были бы столь же краткими, а «доказательства», представленные его «историками», столь же «убедительными», и наверняка нашелся бы десяток-другой «нейтральных» и честнейших морских волков-капитанов, откровенно и со всеми деталями рассказавших бы, как они «лично» перевезли несколько миллионов евреев на Мадагаскар, где их, вероятно, съели лемуры. Тем более что и сейчас, когда разрыты «яры», «рвы» и прочие могилы, перепол-

ненные детскими костями, через десятки лет после того, как перепачканный собственными испражнениями труп «фюрера» был сожжен, его «духовные» дети, недолизавшие «сверхчеловеческий» зад, распространяют свои «версии» «исчезновения» евреев, весьма схожие с вышеописанной.

Однако в этих примерах имеются уязвимые места, ранее прикрытые авторитетом вождей и проявившиеся сразу же, как только человечество осознало, что эти грозные и непогрешимые полубоги были по своему истинному содержанию дерьмом собачьим. Правда, массовое прозрение пришло лишь тогда, когда этому внутреннему содержанию стала в полной мере соответствовать и внешняя форма. В числе таких слабых мест, прежде всего, следует упомянуть наличие вещественных доказательств — тех самых костей, о которых уже шла речь.

Поэтому для своего романа я отбирал только те исторические возможности, которые нельзя опровергнуть ни документально, ни вещественно, и таких событий оказалось не так уж мало, в чем может убедиться каждый, кто пожелает прочитать эту книгу. Чтобы и мой метод был лучше понят читателем, рассмотрим такой, может быть, для кого-то весьма неожиданный вопрос: встречались ли в жизни Ленин и Гитлер?

Следуя общим законам литературного творчества и учитывая, что наш Ильич частенько мотался по Германии и Австрии, такое свидание можно было бы сконструировать, не затрудняя себя поисками каких-либо реалий. Однако предшествующее в заглавии этой книги слову «роман» определение «исторический» обязывает более старательно исследовать возможность этой встречи. Старательность же и настойчивость обязательно вознаграждаются. И вот в воспоминаниях Крупской мы находим такие слова: «...время провели в ресторане, славившемся каким-то особенным сортом пива. «Hof Brau» назывался ресторан. На стенах, на пивных кружках везде стоят буквы «Н.В.» — «Народная Воля» — смеялась я. В этой-то «Народной воле» и просидели мы весь вечер... Ильич похваливал мюнхенское пиво с видом знатока и любителя...»

Эта запись Крупской относится к началу августа 1913 года, когда она и Ильич, возвращаясь из Берна в Поронин, решили ехать через Цюрих, Мюнхен и Вену и в Мюнхене «пробыли лишь несколько часов — от поезда до поезда».

Как видим, в воспоминаниях Крупской речь идет об известном мюнхенском пивном ресторане «Хофбройхаузе», сыгравшем большую роль в биографии Бесноватого: именно здесь произошла первая «проба сил», известная в мифо-

логии третьего рейха как «Сражение в Хофбройхаузе». Но это было позже — в ноябре 1921 года, а тогда, когда Ильич посетил эту пивнушку, шел третий месяц пребывания в Мюнхене Адольфа, впервые приехавшего в этот город в мае предвоенного года. По воспоминаниям его мюнхенских знакомых, Адольф сразу же полюбил «Хофбройхауз» и, несмотря на духоту, торчал там часами, читал разложенные на столиках газеты и, как и до этого в венских кафе, встревал в политические дискуссии. Его любовь именно к этой пивной выразилась и в том, что здание «Хофбройхауза» неоднократно возникало на акварельках Адольфа.

Сопоставляя эти безупречные исторические факты, нетрудно себе представить, что, когда Ильич смаковал мюнхенское пиво в «Хофбройхаузе», Адольф за соседним столиком просматривал прессу либо вел шумную дискуссию в другом углу зала и тем привлек внимание нашего «вождя». Если же в то время, когда Ильич шел в пивную, Адольф сидел со своим мольбертиком в каком-нибудь уютном уголке на Плацль вблизи «Хофбройхауза», то небезразличный к искусству наш «вечно живой» вполне мог остановиться, чтобы через плечо «художника» взглянуть на картину. В любом из описанных случаев Ильич, великолепно владевший немецким, мог перекинуться с Адольфом парой слов, и ни одна из этих возможных сцен «никогда» не может быть опровергнута каким-либо документов либо иным убедительным доказательством, ибо в те несколько мюнхенских часов Ильич и Крупская встретились и по разным поводам переговорили с десятком горожан, начиная от кассира Главного вокзала до официанта в пивной. Все эти встречи и разговоры недолго погостили в памяти их участников и ушли в небытие, но это не значит, что их не было.

И описанная здесь вполне правдоподобная мюнхенская ситуация, и не менее правдоподобные события и обстоятельства, образующие ряд важных сюжетных линий предлагаемого читателю романа, освящены явившейся полтора столетия назад мудрой и вещей фразой: «Бывают странные сближенья...»

Взять хотя бы судьбы Сталина и Гитлера, в которых при всем различии их темперамента, возраста, условий существования и методов борьбы за власть есть какая-то мистическая связь, выражавшаяся, в частности, в целом ряде биографических совпадений и сближений:

— матери обоих выродков мечтали, что их чада станут священниками;

— оба считали себя людьми, не чуждыми искусству;

— оба были неучами, претендовавшими на всезнание, и оба считали себя корифеями всех наук;

— оба сочиняли сентиментальные стишки;

— оба были тайными осведомителями секретных служб тех режимов, против которых боролись их «партии»;

— оба захватили лидерство в партиях, основанных другими политиками;

— оба убили или довели до самоубийства своих любимых женщин (Надежду Алиллуеву и Гели Раубаль) примерно в одно и то же время;

— оба коварно расправились со своими верными друзьями и помощниками;

— оба считали себя великими полководцами;

— оба в начале собственного жизнеустройства охотно пользовались помощью и доброжелательностью евреев;

— оба, достигнув неограниченной власти, стали инициативными юдофобами, поставив своей конечной целью физическое уничтожение всех евреев в мире;

— оба правили странами и народами, к которым не принадлежали;

— оба с большим уважением относились друг к другу (Гитлер во время войны в своих «застольных беседах» каждую неделю хоть раз упоминал «гениальность» Сталина, а Сталин в это время изучал «Майн кампф», рекомендуя эту книгу всему своему «партийному» окружению).

Был еще один мелкий общий штришок в их биографиях: оба они, еще безвестные и неустроенные, в 1913 году более месяца в одно и то же время находились в столице «лоскутной» Австро-Венгерской империи Вене. Этот факт, в частности, и положен в основу второй главы романа «Окончательное решение».

Немало сближений есть и в Судьбе главного героя этого романа, который был, например, внуком человека, содействовавшего привлечению Кобы (Сталина) к работе на охранительные службы Российской империи, и стал одним из немногих евреев, побывавших в Освенциме, не будучи заключенным в этом лагере смерти. И многое другое.

Глава первая

Мои евреи

Основное начало нашей государственности заключается в том, что в Российской монархии есть Русский Царь, перед которым все народы и все племена равны. Государь Император выше партий, национальностей, групп и сословий. Он может спокойно сказать: «Мои поляки. Мои армяне. Мои евреи. Мои финляндцы. Все они — Его...»

Князь А. Д. Оболенский,
обер-прокурор Синода.
Из выступления в Государственном Совете Российской Империи

1

Петр Аркадьевич Столыпин никогда не разделял указанную в эпиграфе к этой главе точку зрения князя Оболенского, а вернее — выводы, которые тот делал из этого неоспоримого начала русской государственности, и то обстоятельство, что все партии, народы и племена, группы и сословия в империи в равной степени подвластны и даже являются собственностью русского царя, по его, Петра Аркадьевича, мнению вовсе не могло служить основанием равенства всех этих народов и племен в части их гражданских прав.

Эти его убеждения сложились задолго до думских дебатов 1905–1910-х годов — еще в те времена, когда он был помещиком в Западном крае, и особенно когда он прикоснулся к проблемам управления этой неблагонадежной частью империи, став в 1897 году Ковенским уездным, а затем и губернским предводителем дворянства. Именно тогда он, одаренный способностью предчувствовать будущее, впервые ощутил там присутствие неких центробежных сил, упорно и неуклонно уводящих эти земли от России. Поэтому, получив административную власть над Империей, он посчитал своим долгом законодательным путем навсегда обеспечить русское большин-

ство в местном самоуправлении. Отвечая «левым» критикам его предложений, Петр Аркадьевич не стал деликатничать. «Цель проекта,— сказал он,— запечатлеть открыто и нелицемерно, что Западный край есть и будет край русский, навсегда, навеки!»

И все же откровенность Петра Аркадьевича была, как всегда бывает у политиков такого ранга, далеко не полной. Конечно, обуздание искренне раздражавших его своей аристократической спесью и гонором полячишек-землевладельцев и «русских» немцев, интенсивно скупавших западные имения от моря и до моря, было важной стратегической задачей, поскольку время, когда и те, и другие будут осваивать Сибирь, а их места в Западном крае займут истинно русские люди, должно прийти непременно, но если говорить о сегодняшнем дне, то головной болью премьера являлась ощущаемая всем его естеством еврейская опасность.

Впрочем, здесь были не только страхи и предчувствия. Был и тщательный анализ недавних событий — так называемой «революции» пятого года. Накал страстей, подстрекательство к бунтам и реальные противоправительственные действия были наиболее грозными именно в Западном крае, и во всех этих делах ощущались присутствие и инициатива евреев. Естественно, видел и понимал все это не один он, но организованная по указаниям местных и центральных властей волна погромов оказалась недостаточно эффективной. Она вызвала довольно массовую эмиграцию евреев в Европу и Америку, но уезжали как раз «смирные» люди, желавшие не бунтовать, а работать и жить в безопасности. Смутьяны же оставались, и их сплоченность и организованность возрастали. Дело дошло до того, что у евреев Западного края стали возникать отряды «самообороны», вступавшие (и с успехом!) в бой с императорским воинством.

Военные успехи евреев в Белостоке вызвали даже общеимперский инцидент: при обсуждении белостокского погрома в Думе депутат Якубзон заявил, что солдаты боялись идти на те улицы, где стреляла еврейская самооборона, так как «русские войска научились бегать от выстрелов после русско-японской войны». Когда газеты разнесли по стране слова Якубзона, поручик Смирнский, молодой офицер, публично вызвал на дуэль депутата, оскорбившего армию. Да и в Думе депутаты Стахович и Способный дали Якубзону резкую отповедь, а с не менее резкими протестами выступила не только правая, но даже и умеренная печать. Дело закончилось тем, что

Якубзон официально заявил, что слова его «не так поняли» и что он хотел сказать, что солдаты не шли, не желая «стрелять в народ».

Участие же «христианского» населения в погромах было довольно вялым, поскольку, во-первых, отсутствовала прямая связь между истреблением евреев и повышением личного благосостояния, кроме возможности чем-нибудь поживиться, грабя еврейские лавки и квартиры, а, во-вторых, от организаторов акции дурно пахло причастностью к непопулярным в массах охранительным учреждениям. Неоднократно обдумывая все эти дела не таких уж далеких дней, Петр Аркадьевич постоянно возвращался к мысли о том, что меры по искоренению евреев только тогда будут успешными, когда они станут инициативой масс, станут частью и национальной, и всемирной идеи.

Для этого, однако, попугайского бормотания о «защите Веры, Царя и Отечества» было явно недостаточно, ибо отношение к этим символам давно уже было неоднозначным. Так, например, в том же Западном крае нееврейское, но и нерусское большинство никакого благополучия и никакой устойчивости Вере, Царю и Отечеству Петра Аркадьевича никогда не желало и желать не будет. Нет, еврей должен предстать перед всеми остальными народами только как их общий враг, стремящийся к разрушению веками установившегося миропорядка. И тогда в борьбе с еврейской опасностью будет достигнут успех.

2

Петр Аркадьевич не принадлежал к читателям-фанатикам, но в годы «революционных» потрясений был к прессе крайне внимателен, регулярно просматривая и правые, и левые издания. Не пренебрегал он и издаваемой связанным с охранкой погромщиком Крушеваном петербургской газетенкой «Знамя», где и ознакомился с публикацией весьма странного содержания под названием: «Программа завоевания мира евреями». Редактор же пояснял читателям, что это перевод некоего французского документа «Протоколы заседания всемирного союза франкмасонов и сионских мудрецов». Прочитав последний выпуск «Знамени» («документ» печатался с 28 августа по 7 сентября 1903 года) Петр Аркадьевич понял, что при всей своей глупости, к тому же очевидной, вероятно, далеко не всякому, эта «Программа» указывает довольно прямой путь к окончательному устранению евреев не только из русской,

но и из мировой истории. Кроме того, прочитанное оживило его собственные воспоминания теперь уже далекого прошлого, когда он только начинал свое служение России.

3

Известная фраза Порфирия Петровича «Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?», несмотря на то что сказана она была «ироническим человеком» в разговоре с другим «ироническим человеком», отражала, тем не менее, правду жизни. И сам ее автор — Федор Михайлович Достоевский — неоднократно предавался мечтам вслух о приобретении Россией каким-то одному ему понятным бескровным путем черноморских проливов и о внушении всем мусульманам убеждения в том, что русский («белый») царь выше пророка Мухаммеда.

Студенческие мечты Петра Аркадьевича были смелее: он тогда находился под сильным влиянием книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа» и, искренне поверив логике и «научным» прогнозам знаменитого славянофила, будучи сам «западным» европейцем по рождению, серьезно готовился принять активное участие в управлении и возрождении на славянской основе дряхлеющего европейского континента.

В одну из своих приватных поездок на немецкую родину в доме своих давнишних приятелей Петр Аркадьевич увидел весьма занимательное «философское» сочинение некоего Хьюстона Чемберлена «Основы XIX века». Рационалистический ум Петра Аркадьевича, естественно, не мог принять ту собачью чушь, коей эта книга была набита сверх всех допустимых пределов. Но этот же рационализм не помешал Петру Аркадьевичу представить себе огромную силу мобилизующего воздействия такой книги на «массы», включая псевдонаучную псевдоинтеллигенцию, а высвобождение национального чванства и сосредоточение «народной» ненависти на соседствующем в реальной жизни и потому всегда находящемся под рукой еврее могло обеспечить высочайший уровень сплочения нации, необходимый для ее утверждения во главе человечества.

«Нам бы на службу такого англичанина»,— подумал Петр Аркадьевич и потрудился приобрести два экземпляра чемберленовского бреда.

В то же время «явление» Чемберлена не переубедило Петра Аркадьевича в его уверенности в скорой гибели

Европы. Для него, идеально здорового в своей мужской ориентации человека, сама по себе связь этого «явления» с педерасто-вагнеровским кругом и вырождающимся немецким императорским домом была признаком неизбежного упадка и гибели европейского мира.

Годы, однако, вносили свои коррективы в эти голубые и розовые надежды. Западная Европа не торопилась уходить с исторической сцены, и, анализируя, пока только для себя, происходящие там политические и экономические процессы, Петр Аркадьевич не исключал и того, что роль спасательного круга для гибнущей западной цивилизации (в ее гибель он еще продолжал верить) играет финансовая активность еврейского капитала. Ускорить же эту гибель, таким образом, можно было путем создания процветающей великой России, готовой в любой момент принять на себя ответственность за всю планету и осуществлять целенаправленную тайную разрушительную деятельность в недрах так называемых «демократических» западноевропейских режимов, а также, может быть, даже путем устранения еврейского капитала, в качестве первого шага, хотя бы из Европы.

В своих, как сказали бы теперь, индивидуальных деловых играх, отвлекавших его от скучной рутинной работы в Министерстве внутренних дел, куда он попал прямо со студенческой скамьи, он весьма подробно разрабатывал, даже можно сказать вынашивал, свою систему подобных мероприятий, направленных на подчинение всего мира интересам великой России. Эта умственная работа так его увлекла, что, когда система, его Система, обрела стройность и убедительность, он почувствовал настоятельную потребность обсудить с компетентным человеком, хотя бы в общих чертах, возможность ее реализации. Такого человека в кругу своего служебного общения он не видел, ибо канцеляристы сами по себе — люди скучные, а от огромной оперативной части министерства, где обитали некоторые легендарные личности, его отделяла незыблемая бюрократическая структура этого могущественного учреждения. И он стойко хранил свои тайны, пока Случай не свел его с одним из Великих Провокаторов Империи — Петром Ивановичем Рачковским, евреем-выкрестом, принявшим православие.

Петр Иванович в те годы заведовал заграничной охранительной службой и в Питере бывал крайне редко. О его деятельности и о нем самом рассказывали чудеса, и для такого относительно молодого кабинетного чиновника, как Петр Аркадьевич, Рачковский являлся фигурой вполне фанта-

стической, поскольку он был провокатором-сюжетчиком и в его сюжетах по своей и не по своей воле были задействованы десятки, а иногда и сотни людей.

Готовясь к встрече, устроенной ему общими знакомыми из числа сослуживцев, Петр Аркадьевич представлял себе своего легендарного тезку в виде сурового и сдержанного человека с почти неподвижным и тяжелым «пронизывающим» взглядом. Но при их знакомстве Петр Аркадьевич даже несколько растерялся, настолько представший перед ним человек не походил на созданный его воображением облик. Петр Аркадьевич просто не мог поверить, что подходивший к нему добродушно улыбающийся, веселый полный господин и есть самый талантливый, решительный и изобретательный тайный зарубежный представитель их могущественного ведомства, и он, как ему показалось, как-то сразу потерял охоту к серьезным беседам.

Отважный герой невидимого фронта и в разговоре был беспредельно мягок и добродушен. Петра Аркадьевича не оставляло впечатление, что в манерах и постоянной улыбке его собеседника есть что-то заискивающее, как у предупредительного официанта, и, вероятно, из-за этих своих аналитических отвлечений он не заметил того момента, когда он в ответ на легкомысленные рассказы Петра Ивановича о западной жизни вообще и парижской в частности поделился своими мыслями о том, как эту беззаботную жизнь сперва расстроить, а потом подчинить интересам России.

Петр Иванович же, разговорив собеседника, сам почти что замолчал, продолжая улыбаться, и только краткими и точными вопросами направлял беседу в нужное русло до тех пор, пока Петр Аркадьевич не изложил всю свою Систему утверждения России в руководящей роли на всей планете.

«Толково, очень толково,— сказал Петр Иванович,— но чтобы все это можно было сделать, нужно чтобы дома, в России, был железный порядок. Иначе любое наше действие будет, возвращаясь бумерангом, разрушать наш собственный дом».

4

Следующая встреча с Рачковским состоялась у Петра Аркадьевича, когда он, приняв назначение в Саратов, но все еще оставаясь гродненским губернатором, по ряду причин, связанных с завершением дел в Западном крае, провел

несколько дней в Варшаве. В один из этих варшавских дней ему передали визитную карточку «коммерсанта Петра Ивановича Рачковского».

Столыпин задумчиво вертел в руках карточку: имя «коммерсанта» вызвало в его необъятной памяти волну воспоминаний. Дело в том, что с момента их первого знакомства и обстоятельного, хотя и несколько одностороннего разговора Столыпин всеми доступными ему средствами следил за действиями супершпиона и суперпровокатора, пытаясь отыскать связь между его деятельностью и различными событиями в Париже, во Франции и вокруг нее. И временами Петру Аркадьевичу казалось, что там, в «зоне влияния Рачковского», происходит нечто вроде опытной проверки целого ряда узловых положений его Системы дестабилизации либеральных режимов. В числе таких событий, явно укладывающихся в его Систему, были, например, бомба в Национальном собрании в 1893-м и серия более грозных взрывов в Льеже в 1894 году, кем-то спровоцированные беспорядки во Франции и Бельгии, вызвавшие взаимные подозрения в этих странах, и многое другое. В этих событиях, по мнению Петра Аркадьевича, можно было усмотреть попытки проверить действенность таких положений его Системы, как необходимость добиться в «подопечных» государствах недовольства и беспокойства населения, дискредитации местной власти (обе эти цели легко достигались террором) или искусственного создания ситуаций, подрывающих отношения между государствами.

Знал он в основных чертах и об обстоятельствах, превративших Рачковского из знаменитого резидента в неизвестного коммерсанта,— о его взлете и падении.

Взлет этот был связан с визитом в Париж русского императора с супругой во время «Русской недели» осенью 1896 года, когда на Петра Ивановича легли все заботы о безопасности императорской семьи и когда он блестяще с этой задачей справился. Падение же его также было связано с делами царской семьи, когда он преступил дозволенную черту, переусердствовав в подготовке досье на предшественника Гришки Распутина, французского проходимца — некоего Филиппа. При составлении досье Петр Иванович, чтобы его услуга дому Романовых выглядела посолиднее, дал волю фантазии, всегда имевшей у него юдофобский уклон, который он старательно демонстрировал, чтобы подчеркнуть свою отстраненность от покинутого им по собственной воле родного племени. Задокументированного лионским судом уголовного про-

шлого новоиспеченного «мага» и «чародея» Рачковскому показалось недостаточно, и он от себя сделал этого сына бедного французского крестьянина евреем и «активным членом» таинственного «международного синдиката» «Гранд-Альянс-Израэлит» — одной из несуществовавших «секретных еврейских организаций», уже владевших земным шаром, придуманных юдофобами в период «дела Дрейфуса». Над такими выдумками потешался Чехов, сообщая Суворину, тиражировавшему эту ложь в России, что он, Чехов, получил от «еврейского синдиката» сто рублей за свои убеждения в невиновности еврея.

Далекий от дворцовой жизни, Рачковский не учел, что земные связи «кудесников — любимцев богов» для императорской четы никакого значения не имели, а стороннее вмешательство в мистический мир, где она, эта чета, обитала, обычно не проходило безнаказанным. Потому Петр Иванович не послушался совета министра Синягина немедленно сжечь свое драгоценное собрание и все-таки пристроил папочку в надежные, как ему казалось, высочайшие руки, а когда уже после убийства Синягина получил вызов в Питер, немедленно выехал в ожидании наград.

К тому времени царь с царицей уже ознакомились с содержанием рачковской папочки и с присущим им благородством сделали свои выводы: Николай высоко оценил бдительность и служебное рвение провокатора и лично представил его новому министру внутренних дел со словами:

— Вот Рачковский, которого я *особенно* люблю!

И Плеве был вынужден обменяться с Рачковским крепким рукопожатием. Но в отличие от Петра Ивановича Плеве знал истинное настроение царя и немедля подготовил доклад о проделках парижского резидента. Изюминкой этого доклада были неоспоримые и до сих пор весьма типичные для России обвинения в получении крупных взяток за содействие иностранцам в обретении концессий в России. На этом докладе царь написал свою резолюцию: «Желаю, чтобы вы приняли меры к прекращению деятельности Рачковского раз и навсегда». «Мелочишка», отложенная на государственной службе на черный день, и знание подноготной западного финансового мира позволили ему с неизменным успехом осуществлять некрупные спекуляции и жить безбедно с Ксенией Шарле, одной из тех маленьких парижанок, коих он так любил в свои боевые годы. Но Столыпин по себе знал, как пустеет жизнь, если из нее уходит главное Дело, и понимал, что напоминание Петра Ивановича о себе может основываться и на

некоторых надеждах на возвращение к привычным заботам. И тем не менее эта неожиданная встреча была Петру Аркадьевичу интересна.

5

Конечно, Столыпин и не думал сам разыскивать какую-то Бураковскую улицу, указанную в карточке, и отправляться туда инкогнито. Свое приглашение Рачковскому прибыть в назначенный час он передал с посыльным.

Годы, прошедшие с момента их предыдущей встречи, существенно изменили внешность шпиона: ушла несколько избыточная полнота, и от этого резче обозначились его высокий рост, сутулость и длинный острый нос, появилась шепелявость. Но вошедшая в привычку парижская элегантность оказалась сильнее времени: все так же ослепителен был его любимый белый жилет, так же безукоризненно отглажен отложной воротник и с таким же вкусом подобран галстук.

Петр Аркадьевич довольно скоро подвел разговор к занимавшему его вопросу и получил недвусмысленный ответ на свои подозрения.

— На меня, признаться, Петр Аркадьевич, произвели большое впечатление ваши идеи,— сказал Рачковский.— Я даже записал кое-что, да собственно все основное, по горячим следам. Может быть, вы еще прочтете чьи-нибудь рассуждения на эти темы — не удивляйтесь!

Потом разговор коснулся их в прошлом общей обители — Министерства внутренних дел.

— Хоть и по разным причинам, но пути наши с вами, Петр Иванович, вероятно, навсегда разошлись с этим учреждением,— сказал Столыпин.

— Обо мне вы, наверное, правы, а по поводу себя — не зарекайтесь! В наше время все может вдруг изменится... И скоро,— с каким-то неясным намеком произнес Рачковский.

Столыпин, естественно, не мог знать такой мелочи, как совсем недавняя тайная встреча давних знакомых — Рачковского и Азефа. Неофициальная беседа двух великих провокаторов была вроде бы ни о чем, но по ее окончании Петр Иванович обрел твердое убеждение — если не дни, то месяцы очередного министра внутренних дел, его, Рачковского, обидчика, Плеве сочтены. Следующим же министром вполне мог стать и Петр Аркадьевич Столыпин, который тогда, может

быть, и вспомнит об этом их разговоре. Так думал Рачковский, возвращаясь в свои меблированные комнаты.

6

Столыпин вспомнил о Рачковском через несколько месяцев, когда в его руки попали эти выпуски крушеванской газетенки. Чем более он вглядывался в текст, тем сильнее укреплялось в нем впечатление, что в основе «Программы завоевания мира евреями» лежат его собственные идеи, его Система подчинения мира российским интересам, пропущенная через помутившееся сознание душевнобольного или душевнобольных. Это впечатление усиливалось непреодолимой естественной брезгливостью, с которой человек, отличающийся устойчивым умственным здоровьем, а Столыпин был наделен этим благом в высочайшей степени, прикасается к сумасшедшему.

Но эмоции эмоциями, а политика политикой, и как политик Столыпин не мог не оценить гениальный ход безымянного создателя фальшивки: все то, что предстояло тайно совершить его России или любой другой стране, стремящейся стать державой, диктующей свои законы всему миру, в «Программе» приписывалось несуществующим тайным еврейским и масонским союзам, а это открывало возможность превращать в общественном мнении народов собственные посягательства на мировое владычество в борьбу с общим еврейским врагом, а лучшего «общего врага», чем «мировое еврейство», придумать было просто невозможно. Здесь несомненно потрудился Великий Провокатор.

Впрочем, необъятная память небезразличного к литературе Столыпина не могла не отметить, что идея существования тайных еврейских сообществ, управляющих миром или вот-вот овладеющих бедной планетой, совсем не нова. Множество подобных «мыслей» витало в политической борьбе вокруг Дрейфуса, да и в России еще тридцать лет назад Достоевский высказывал свои подозрения в существовании целенаправленной деятельности мирового еврейства по финансовому расслаблению земного шара и в возможности присутствия где-то в недрах католических учреждений неких старичков-мудрецов, руководящих всем прочим человечеством. Оставалось только смешать весь этот бред в одно целое и присоединить к нему правдоподобную «программу». Столыпин даже пожалел, что этот полезный «документ» был изначально скомпро-

метирован причастностью к нему таких грязных личностей, как кишиневский погромщик Крушеван. Но знал он и недолговечность газетных «открытий» и был уверен, что если через несколько лет этот «документ», очищенный от слишком явных глупостей, появится в более солидном издании, то крушеванскую публикацию никто и не вспомнит. Вот только сам Петр Аркадьевич не только не мог взяться за эту работу, но даже не мог допустить, чтобы его имя было каким-то образом причастно к подобному делу.

7

Предчувствия Петра Ивановича, как мы знаем, оправдались. Год спустя Сазонов убил Плеве, а он, Рачковский, опять возник из небытия еще до прихода в Министерство внутренних дел Столыпина, получив из рук Трепова должность заместителя директора департамента полиции. На этом посту Рачковский развернулся вовсю, наводнив всю империю сотнями различных брошюр, подстрекавших и гражданское население, и солдат убивать евреев. Брошюры эти печатались от имени несуществующих организаций, «создавать» которые он навострился еще во Франции. Удалось ему создать и одну вполне реальную организацию — «Союз русского народа».

Столыпин, продолжавший внимательно следить из своего саратовского далека за всеми внутренними делами России, не одобрял погромной деятельности, поскольку, как не прятались ее концы и начала, все равно где-нибудь высовывалось свиное охранительное рыло, а ненависть к охранке в народе росла. Все это он знал не понаслышке, поскольку кровавый погром в октябре 1905 года в Саратове с разграблением синагог и еврейских квартир происходил во время его губернаторства с участием полиции и стоявших в городе казаков, а вооруженное противодействие ему пыталась оказать только рабочая боевая дружина. Тогда Столыпин вернулся из Питера лишь к концу погрома — 20 октября и по настоянию владыки Гермогена был вынужден, скрепя сердце, обратиться к населению со следующими словами: «Стыдно и грешно русскому христианину производить насилия, грабежи. Надлежит помнить, что евреи, во-первых, тоже люди, а во-вторых — подданные Русского царя, под высокою рукою которого каждому подданному, без различия вероисповедания и происхождения, должны быть обеспечены "жизнь, спокойствие и целость имущества"».

Окончательно разогнала погромщиков, однако, не полиция, а все та же рабочая боевая дружина. 22 октября Столыпин посетил Саратовскую пристань и видел, как к ней подходили пароходы, переполненные евреями — сотнями семейств с больными, женщинами, стариками, детьми из Вольска, Царицына, Камышина и других городов, надеявшимися найти убежище в Саратове, но, когда их пассажиры узнавали о саратовском погроме,— уплывали куда-то прочь. «Искренне» верующий христианин и примерный семьянин Столыпин наблюдал за этим без сожаления. Более того, возможно, именно тогда, когда он смотрел вослед одному из уплывающих неведомо куда пароходов, перед ним впервые возник Призрак «окончательного решения» этого неразрешимого «еврейского вопроса».

События эти произвели на Петра Аркадьевича сильное впечатление, не оставившее его и в момент почти случайной краткой встречи с Рачковским во время одного из довольно частых в том тревожном году наездов в Питер. Тогда же он наспех сделал несколько замечаний по крушеванской публикации и заметил, что, переизданная более серьезным и более чистым в глазах общества человеком, такая «Программа завоевания мира евреями» могла бы сделать много больше, чем какой-нибудь глупый погром, неизменно вызывающий злобный вой мировой либеральной прессы.

«Ситуация только тогда может стать полезной и перспективной, когда народ будет подниматься на евреев, а полиция будет их *защищать*. Угроза должна исходить из каждой подворотни, и страна наша очистится,— закончил свою мысль Столыпин и, передавая Рачковскому опус Чемберлена, добавил: — Посмотрите это. *Оно* может кое в чем оказаться вам полезным».

Уже убедившись однажды в хорошей памяти Рачковского и зная его исполнительность, Петр Аркадьевич был уверен, что его слова будут приняты во внимание. И действительно, вскоре он узнал, что, по указанию Московского митрополита, почти в четырехстах церквях Москвы 16 октября 1905 года были прочитаны проповеди, содержащие изложение «Протоколов сионских мудрецов». Основой проповеди, как сообщили Столыпину, являлась рукопись книги православного писателя Нилуса, имя которого, как уже было известно саратовскому губернатору, последнее время замелькало при дворе. Книга же называлась «Великое в малом и Антихрист как близкая политическая возможность», а «Протоколы» состояли в ней в качестве приложения.

Получив через пару месяцев экземпляр этой книги, Столыпин убедился, что последний разговор с Рачковским не пропал даром: изложение «программы» приобрело большую стройность, хотя в целом это изложение было, по мнению Петра Аркадьевича, перегружено коробившей его рациональный ум мистикой, в которой он всегда видел признак душевного расстройства.

Впрочем, как Петр Аркадьевич и ожидал, в этом своем явлении «Протоколы» приобрели более нужного читателя — ими заинтересовалась определенная часть интеллигенции, и именно с влиянием этой фальшивки, ставшей более правдоподобной и убедительной, он связывал рост националистических настроений журналистско-писательской братии. В этом плане Столыпина более всего порадовали выступления Струве, приветствовавшего в «Слове» возрождение «национального русского чувства», и Андрея Белого, опубликовавшего в «Весах» под предлогом «защиты русского слова» резкую антисемитскую статью. «Вы посмотрите списки сотрудников газет и журналов в России: кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите сплошь имена евреев...» — взывал, а вернее взывал знаменитый символист, и впервые Столыпин ощутил поддержку своих идей, исходящую из прежде самого враждебного ему лагеря. Его думские речи и такие публикации образовывали мощный единый поток. Можно было переходить к более решительным действиям.

Справедливости ради следует отметить, что в своих думских речах он не забыл и Петра Ивановича. Когда Рачковский в силу присущей ему черты, именуемой в народе хитрожопостью, опять влип в историю своими комбинациями с Азефом, Петр Аркадьевич 11 февраля 1909 года произнес перед думцами пламенную речь, в которой твердо отделил Рачковского от Азефа, поскольку Петр Иванович в период главных художеств Азефа в 1902—1905 годах был в отставке, да и самого Азефа выгородил, объяснив непонятливым депутатам, что это «такой же сотрудник полиции, как и многие другие», только почему-то «он наделен в настоящее время какими-то легендарными свойствами». Как видим, в этих «кругах» была определенная «порядочность».

8

Домашние Петра Аркадьевича вспоминают, что он почти каждый день допоздна работал за письменным столом в своем кабинете. С некоторого времени значительную

часть его «рабочего досуга» стало занимать изучение «еврейской проблемы». Полагая подобно Нилусу, что все великое проявляется и в малом, он изучал не только мировой, но и местные аспекты еврейского вопроса и в этом плане считал для себя полезным изучение истории появления и жизни евреев в Саратове, которую ему, как губернатору, было возможно воссоздать для себя во всех деталях.

И вот однажды в своих изысканиях он натолкнулся на материалы дела по обвинению евреев Шлифферманa и Юшкевичера в ритуальном убийстве двух русских мальчиков — 10-летнего Феофана Шерстобитьева и 11-летнего Михаила Маслова. Несмотря на то что специальная комиссия под руководством А. К. Гирса, учрежденная по высочайшему повелению в июле 1854 года, признала лживыми показания истинного убийцы мальчиков, некоего русского Богданова, утверждавшего, что он убивал «по просьбе и за деньги евреев», а министр юстиции Замятин подтвердил невиновность евреев, Государственный совет и Александр II отправили Шлифферманa и Юшкевичера на каторгу.

Ознакомившись с этой историей, Столыпин задумался. Он вспомнил рассказы гродненских чиновников-старожилов об аналогичном разбирательстве о причастности евреев к ритуальным убийствам христианских детей, тянувшемся полтора десятка лет и закончившемся безуспешно для обвинения. Естественно, Столыпин ни на минуту не сомневался в том, что евреи не употребляют и никогда не употребляли в ритуальных целях «христианскую кровь» и вообще какую-либо кровь, поскольку он хорошо знал Ветхий Завет, но в таком «процессе», если он будет надежно подготовлен, он увидел решение так сильно беспокоившего его вопроса, поскольку именно тогда полиции придется не поднимать подонков на погром, а защищать «евреев-убийц» от истинного и искреннего гнева народа. И вновь перед мысленным взором Петра Аркадьевича появился пароход, увозящий дрожащих от страха евреев неизвестно куда, к чертям собачьим.

Эти мысли и эти сладостные видения прочно засели в его памяти, и через несколько месяцев, покинув Саратов и встретившись с Рачковским уже по долгу службы, как министр внутренних дел, он в более сжатой и менее поэтической форме пересказал их Петру Ивановичу, твердо уверенный, что сказанное им не будет забыто. Да и по нилусовской редакции «Протоколов» он не преминул сделать несколько замечаний в части дальнейшего усиления их убедительности.

9

Рачковский не забыл ни единого из «пожеланий» Столыпина: продолжил свою работу душевнобольной «православный писатель» — двоеженец Сергей Нилус, а доверенные и компетентные люди получили указание искать удобный случай для удара по российскому еврейству.

Императорские лабиринты исполнительной власти обладали таким свойством, что однажды данное распоряжение продолжало исполняться даже тогда, когда исчезал его автор. Уникальным случаем проявления этого свойства можно считать достоверный рассказ о том, как Екатерина Великая однажды приказала поставить часового в месте, где в царскосельской аллее пробился росток, в коем матушка-императрица подозревала какую-то уникальную розу. Пост был внесен в реестр и охранялся более ста лет после того, как выросший вместо розы сорняк был уничтожен. Так и в этом случае, распоряжения, отданные Рачковским, продолжали действовать и тогда, когда Петр Иванович очередной раз и уже навсегда тихо отошел от дел после скандала вокруг Азефа.

И случай представился...

Утро 12 марта 1911 года в известном полиции воровском притоне, который на Верхнеюрковской улице на окраине Киева содержала некая Чеберячка — Вера Владимировна Чеберяк, проходило как обычно: надравшаяся с вечера уголовная братва стала шумно похмеляться. В этот момент в комнату заглянул тринадцатилетний ученик приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрюша Ющинский, собиравший договориться с детьми Чеберяк о прогулке после уроков на заросшем деревьями пустыре в пустынной усадьбе Бернера, находившейся неподалеку от Верхнеюрковской.

Кто-то из уголовников спьяну принял его за девушку и вташил в комнату. Поняв свою ошибку, разомлевший гад решил, что мальчик — это тоже неплохо. Мальчику приказали молчать под страхом смерти. От происходившего на их глазах возбудились и остальные. На третьем у Андрюши началось кровотечение, но братва вошла в раж и дело двинулось по второму кругу, пока державшие Андрюшу «сменщики» не поняли, что у них в руках бездыханное тело и только тогда все заметили лужу крови под Андрюшей.

Вмиг протрезвев, они решили, что должен быть исполнен уголовный закон и все участники этого чувствен-

ного пира должны быть «вмазаны». Во исполнение этого правила каждый из них нанес по мертвому, но еще теплому телу мальчика по несколько ударов ножом.

Вернувшаяся Чеберячка, наорав на братву, заставила их все вымыть и выскоблить и прикрыть наготу тела, но бандюги сумели только кое-как натянуть рубаху, кальсоны и чулок. Остальную одежду, вымазав в крови, сложили на труп и поздно вечером незаметно вынесли его на тот самый пустырь, где Андрюша собирался погулять с детьми Чеберячки, и спрятали в одной из неглубоких пещер, бросив туда и его школьные тетради.

Труп Андрюши был обнаружен 20 марта. Полиция без труда установила место и участников убийства, но в виду особого изуверства, проявившегося в этом преступлении, доложила о нем с подробностями «наверх». Информация дошла до «лица», некогда ознакомленного Рачковским с перспективными планами освобождения от еврейства со слабым намеком на имя автора идеи. И «лицо» начало действовать, понимая крайнюю своевременность этого случая — пасхальный сезон. Киевским полицейским чинам последовало тайное жесткое устное указание — «во что бы то ни стало найти жида» (об этом они расскажут через два-три года). И «жид» был найден. Выбор пал на приказчика кирпичного завода Зайцева — Менделя Бейлиса, так как усадьба этого завода располагалась неподалеку от мест, где разворачивались эти события. Ему и было предъявлено обвинение в ритуальном умерщвлении Андрюши Ющинского для получения «христианской крови». «Для мацы», как говорил «понятливый народ».

Будущему следствию могли помешать дети Чеберячки Женя и Валя, которые никак не могли уверенно заучить необходимые лжесвидетельства и постоянно путались, пытаясь повторить заученный рассказ о том, как они с живым Андрюшей покинули притон, выйдя погулять. Жандармские чины раздраженно высказали своим подопечным уголовникам «мысль», что «лучше бы этих ребят не было». Те все поняли правильно и, напоив потаскушку до беспамятства, заставили ее собственноручно отравить своих детей. Прессе было сказано, что они «умерли от дизентерии».

Узнав об этом, Столыпин возликовал: он почувствовал, что история-мать на его стороне, и стал готовить массированную поддержку будущего «процесса» российской прессой. Перед этой радостью потускнела даже недавняя крупная, как он считал, неприятность: прочитав книгу Нилуса, Госу-

дарь был изумлен мудростью и точностью «Протоколов» и поручил Столыпину подтвердить их происхождение и наличие всемирного еврейского заговора. Столыпин для вида назначил «секретное расследование», но не посчитал для себя возможным обмануть царя и, выждав положенное для «расследования» время, подал доклад о подложности «Протоколов», особо остановившись на возможности их эффективного использования против подстрекаемых евреями революционеров. Однако Государь на докладе изволил написать: «Протоколы изъять. Нельзя чистое дело делать грязными способами». Столыпин был огорчен. Конечно, изымать «Протоколы» он не собирался, да уже и не мог, но ответственность за их дальнейшее использование отныне ложилась на него.

И вот теперь такой подарок Судьбы!

10

Поскольку «процесс» Бейлиса завершился через два года после гибели Петра Аркадьевича, его биографы-апологеты тщательно избегают упоминания об этом сфабрикованном «деле» в его жизнеописаниях, стараясь, чтобы этот позор Российской империи никак не был связан с именем «Великого Реформатора». Даже просто как объективный факт, имевший место во время правления Столыпина, «дело Бейлиса» посмертные друзья и единомышленники премьера старались не упоминать. «Не заметила» ареста и обвинения Бейлиса «в употреблении христианской крови» и дочь Столыпина Мария Петровна Бок.

«По дороге папа говел в Риге и к Пасхе был уже дома в Петербурге»,— вот и все, что сумела она вспомнить через пару десятков лет об этих днях.

Петр Аркадьевич не желал, чтобы его имя каким бы то ни было образом было связано с «делом Бейлиса», и своими мыслями о перспективности этого сконструированного его ведомством события он поделился со своим младшим братом — журналистом Александром, обосновавшимся в «Новом времени» после того, как по указанию Плеве был освобожден от должности редактора «Санкт-Петербургских ведомостей». В результате семейной беседы появилась статья, которая, по мнению братьев Столыпиных, должна была, отталкиваясь от свежеиспеченного киевского «ритуального дела», задать тон широкой антисемитской кампании. В этой статье, опубликованной, естественно, в «Новом времени», Александр Столыпин,

отказав евреям в человеческой сущности и сравнив этот народ с шакалами и ядовитыми существами, предложил собрать евреев воедино и, используя достижения науки, создать им такие условия, чтобы они вымерли. Так впервые в мире была сформулирована идея концентрационных лагерей уничтожения по национальному признаку. Был май 1911 года, и невиновный Мендель Бейлис уже почти два месяца томился в тюрьме, а страна бурлила, веря воплям соответствующей прессы, что теперь уже кровопийцы-евреи не отвертятся. Правда, в ответ на предложения Столыпина-младшего по окончательному решению еврейского вопроса раздался слабый голос некоторых представителей русской интеллигенции. Поликсена Соловьева — дочь великого историка и сестра великого философа — попыталась объяснить в печати, что негоже христианину объявлять шакалами и ядовитыми гадами народ, среди которого явился Бог русского народа Иисус Христос. Были и другие протесты, но не они остановили Столыпина-старшего. Остановило его совсем другое.

11

По долгу службы Столыпин давно уже обдумывал действия по предотвращению все нараставшего влияния Распутина на государственные дела. Привычка во все вникать лично заставила его, преодолев присущее ему отвращение к мистике, пригласить «старца» для знакомства и личной беседы.

Вот что рассказал сам Петр Аркадьевич об этой встрече: «Распутин бегал по мне своими белесоватыми глазками, произносил загадочные бессвязные изречения из Священного писания, как-то необычно разводил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине. Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что он производит на меня какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но все же моральное впечатление. Преодолев себя, я прикрикнул на него. Я сказал ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках, и я могу раздавить его в прах, предав суду по всей строгости закона, ввиду чего резко приказал ему немедленно, безотлагательно и притом добровольно покинуть Петербург, вернуться в свое село и больше здесь никогда не появляться».

Под «документальными данными» Петр Аркадьевич имел в виду подборку сообщений филеров об увесели-

тельных процедурах в банях с голыми «великосветскими» бабами. Однако упоминание об этих «материалах» при царе не вызвало у монарха никакого интереса, и Столыпин решил «дело Распутина» на некоторое время отложить. Слишком много было у него, как мы знаем, других, не терпящих отлагательства «дел».

Конечно, он и предположить не мог, что его, Столыпина, «дело» Распутин уже решил.

Отвлечемся на воспоминания «русской немки» Елены Джанумовой, пробившейся к Распутину в хлопотах о своих соплеменниках, коим грозили по случаю войны всякие ограничения и депортации. Джанумова приглянулась «старцу», и он полюбил ее посещения. Во время одной из их встреч Джанумова не могла уйти от тревоги за больную, умирающую в Киеве племянницу. Распутин почувствовал ее настроение и выспросил причину.

«Я ему все рассказала и сказала, что сегодня же должна уехать,— писала Джанумова.— И тут произошло что-то такое странное, что я никак объяснить не могу... Он взял меня за руку. Лицо у него изменилось, стало как у мертвеца — желтое, восковое и неподвижное до ужаса. Глаза закатились совсем, видны были одни белки (вспомним «белесоватые глаза» в рассказе Столыпина!! — *Л.Я.*). Он резко рванул меня за руку и сказал глухо: «Она не умрет, она не умрет, она не умрет...»

Я собиралась вечером выехать в Киев, но получила телеграмму: «Алисе лучше, температура упала». Вечером к нам приехал Распутин. Я показала ему телеграмму и спросила: «Неужели это ты помог?» — «Я же тебе сказал, что она будет здорова»,— убежденно и серьезно ответил он. «Ну сделай еще раз так, как тогда, может быть, она совсем поправится»,— попросила я, на что он ответил: «Ах ты дурочка, разве я могу это сделать? То было не от меня, а *свыше*».

Столь же мощному биоэнергетическому воздействию подвергся при встрече с Распутиным и Столыпин, только было оно отнюдь не таким благим, как в случае с Джанумовой, во всяком случае — для Петра Аркадьевича. В Библии есть такие слова: «И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Бытие. 4.15). «Какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но все же моральное впечатление», описанное Столыпиным, тоже является знамением, но, как говорят, обратного знака, сделанным Петру Аркадьевичу Распутиным. И не следует «пикулизировать» историю намеками на тайное участие царя, шефа жан-

дармов Курлова и других «официальных» лиц в ликвидации премьер-министра. Не было никаких «указаний» и «распоряжений» — ни письменных, ни устных. Просто знамение Распутина волею, данной «старцу» свыше, удалило ту надежно спасавшую Петра Аркадьевича от десяти предыдущих покушений незримую защитную оболочку, сотканную из высшей нравственности и Судьбы, которая существует и пытается защитить от случайности все живое на Земле, и всякий теперь, встретившись с ним, мог убить его. Жизнь наша — как слеза на реснице.

Между встречей с Распутиным и смертью Петра Аркадьевича были события, косвенно свидетельствующие об изменениях в его душевной энергетике. Вот как рассказывает об одном из таких случаев его дочь: «Мысленно переживая эти последние месяцы жизни моего отца, вспоминаю я один удивительный случай.

Бывал у папа́ доктор Траугот, бывший товарищ папа́ по университету. Они не виделись со студенческих времен и встретились в бытность моего отца уже премьером, когда Траугот обратился к папа́ официально по поводу какого-то дела. Но официальные отношения сразу были отброшены, и этот доктор продолжал бывать в доме в качестве друга.

Приезжаем мы раз в Колноберже, и папа́, здороваясь, сразу говорит мне спокойным, самым обыкновенным голосом:

— Знаешь, Траугот умер.

Я спрашиваю:

— Была телеграмма?

На что папа́ так же спокойно, будто дело идет о самой обыденной вещи, говорит:

— Нет, он сам явился ко мне ночью, сказал, что умер, и просил позаботиться о его жене.

А потом мама рассказывает, что папа́ ночью разбудил ее и сказал, что Траугот умер.

Вечером того же дня была получена телеграмма с этим же известием. Надо прибавить, что менее суеверного и склонного к каким бы то ни было мистическим переживаниям человека, чем мой отец, трудно было сыскать».

Случай этот свидетельствует о том, что Петр Аркадьевич в свое последнее лето был прочно связан с миром Смерти и среди живых его уже не было. Ему оставалось лишь встретить того, кто почувствует запах Смерти, от него исходящий, и откроет для него последнюю дверь в небытие.

Таким человеком оказался молодой киевский еврей Мордко (Дмитрий) Богров. Был он сыном состоятельного

и образованного человека. Да и самого его Природа одарила щедро и разнообразно. Знания давались ему легко, но цель ученичества ему не была ясна. То, что его привлекало, всегда по причинам внешнего характера оказывалось за пределами досягаемости, а достижимое — бизнес, адвокатура и прочие амплуа зажиточных евреев — его не интересовало.

От такой невостребованности в нем развился комплекс неполноценности, толкнувший его в объятия тех, кто, как ему казалось, знал кратчайший путь к общечеловеческому счастью: «убрать» десяток-другой плохих людей, и дорога в земной рай будет открыта для всех. Но так уж повелось, что преступный мир, а мир убийц — всегда преступный, чем бы эти убийства не мотивировались, очень близко соприкасается с другой категорией преступников, чье благополучие во многом зависит от процветания тех, с кем они должны бороться от имени «общества». Неподготовленный к таким вариантам «революционной борьбы» Богров очутился в зоне этого «соприкосновения», в двойном мире, откуда был лишь один достойный выход — Смерть. Свое решение он принял давно, но уйти безвестно, оставив по себе недолгую память у тех немногих, кому он не был безразличен, Богров не мог.

Мир Смерти имеет свои каналы информации, и Богров ощутил прибытие в Киев того, кого он уже довольно долго ждал, еще не зная, кем он окажется. Интуитивно он стремился в театр, где должны были собраться все прибывшие «высокие гости». И действительно, там он сразу же его узнал.

Они оказались достойны друг друга. Столыпин, раненный, повернулся к царской ложе, перекрестил ее слабеющей рукой, положил на оркестровый барьер фуражку и перчатки и только потом рухнул в кресло и потерял сознание.

Богров удивлял своим спокойствием и достоинством и суд, и палачей, коим он всячески старался помочь в последние мгновения своей жизни.

В первых строках завещания Столыпина имелось такое пожелание: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют». У Богрова завещания не было, но оказалось, что премьер-министр говорил за двоих, и оба они были преданы земле там, где их убили — в Киеве, и лежат здесь по сей день, разделенные маленькой речкой Лыбидью: Столыпин — севернее, а Богров — южнее этого иссякающего потока.

На Лысой горе, где соорудили виселицу для Богрова, в момент казни людей было, естественно, меньше, чем в театре, где был смертельно ранен Столыпин, но все

же не безлюдно. «Проводить» убийцу премьера в последний путь прибыли полицмейстер с двумя помощниками, пять участковых приставов, много околоточных и городовых, помощник секретаря окружного суда и товарищ прокурора, врач и раввин, и еще около тридцати черносотенцев, добившихся разрешения присутствовать при казни, чтобы убедиться, что «поганые жиды» не выкупили «своего», подставив кого-нибудь другого за свои «жидовские деньги». Палача отыскали среди уголовников в Лукьяновской тюрьме, пообещав сохранить в тайне его участие в казни и перевести в другую тюрьму, поскольку в Лукьяновской многие узники почитали себя «крестниками» Петра Аркадьевича, и его убийца в их глазах был героем.

Во время всей процедуры Богров обронил всего лишь три фразы. Он молчал, когда товарищ прокурора обратился к черносотенцам с просьбой его опознать, что и было сделано, после чего тот предложил самому Богрову поговорить с раввином. Богров сказал: «Желаю, но в отсутствии полиции»,— а получив отказ, заявил: «Если так, то можете приступать». Последняя фраза Богрова прозвучала уже из-под накинутого на него савана, закрывшего его фрак, в котором он был в театре.

«Голову поднять выше, что ли?» — спокойно спросил он.

Впрочем, с раввином Богров успел поговорить еще в Печерской крепости перед выездом на Лысую гору.

«Передайте евреям, что я не желал причинить им зла, наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа,— сказал он, а когда раввин Алешковский стал упрекать его в том, что своим покушением он мог вызвать еврейский погром, Богров резко ответил: — Великий народ не должен как раб пресмыкаться перед угнетателями его».

12

С уходом Столыпина, как справедливо отметила его дочь, «все здание, им построенное, рухнуло». Не реализовались ни его дальние стратегические планы, сконцентрированные в проведенных и в намеченных реформах, прекратились и его тактические операции, такие, например, как интенсивная государственная скупка земель в Западном и Юго-Западном краях Империи с целью передачи их русским крестьянам для создания русского щита «от моря и до моря» с депортацией полячишек, жидишек и инородческого прибалтийского

сброда в глубь империи. Лопнуло как мыльный пузырь весьма перспективное «дело Бейлиса». Все рухнуло, все исчезло и только идеи, коими он пока занимался вскользь, в основном в беседах с Рачковским и со своим братом, оставляя их на будущее,— идеи физического уничтожения евреев для «окончательного решения еврейского вопроса» под маской борьбы с угрожающим человечеству «господством мирового еврейства»,— пустили глубокие корни в европейскую действительность начинающегося века.

Одна из социалистических газет Италии писала через неделю после казни Богрова: «Русская революция предложила Столыпину пять лет перемирия, чтобы ввести демократические реформы. Столыпин принял это перемирие, чтобы убивать, вешать, ссылать, организовывать погромы, разогнать Думу, закрывать школы, университеты, уничтожать газеты... И вот один встал и говорит: «Этому должно положить конец. Необходимо, чтобы один пожертвовал собой для спасения тысяч». И этот человек нашелся. Еврей, в сердце которого взошли семена ненависти его расы, поруганной, преследуемой, убиваемой, осмеиваемой. Чтобы совершить ужасную месть, он решился надеть ненавистную маску агента тайной полиции. Чтобы совершить месть, он пожертвовал своей честью. Всемогущество ненависти! Казнь не могла не удаться. Столыпин не мог ее избежать. И он ее не избежал. Поединок двух людей. Трагедия целого народа. Страсти всего человечества. Пролог или эпилог исторического периода. Ближайшие события дадут ответ».

Мы, дожившие до начала двадцать первого века, только сегодня можем дать этот ответ, поскольку знаем, что сообщение другой — английской — социалистической газеты, писавшей: «В России одним чудовищем меньше, и нравственная атмосфера мира от этого стала чище. Ужасная это вещь — убить человека! Но честь уничтожения чудовищ в древние времена принадлежала богам!», оказалось неполным. В нем не был учтен тот факт, что чудовища, как и прочие твари, множатся и довольно интенсивно, и когда одно из них уже творило свои дела, два других, много более ужасных, были «при дверех», проходя непременную даже для чудовищ стадию ученичества. Но об этом — в следующей главе.

Глава вторая

Свиньи в синагоге

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей.

Пс. 1:1

Ну что ж ты наделал, куда ты залез, семинарист неразумный?!

Павел Васильев, 1930 год

1

Во избежание дальнейших недоразумений эта глава будет начата с лингвистического отступления — о слове «синагога». «Синагогами» в нашем обиходе именуют еврейские молельные дома и храмы, и потому большинство людей считают это слово еврейским. В действительности же это слово — греческое, никакого религиозного содержания оно не имеет и означает «собрание». И именно о всякого рода собраниях-«съездах», «конференциях», митингах и проч. и проч. здесь будет говориться чаще, чем об иудейском храме, хотя и последний не будет нами оставлен без внимания.

Жизнь наша так устроена, что события, представленные великим Екклесиастом в закономерной последовательности, в действительности, к сожалению, происходят одновременно: например, кто-то строит, а кто-то в то же самое время разрушает, причем одно и то же еще недостроенное здание, и если считать, пусть условно, что Петр Аркадьевич Столыпин, которому посвящена первая глава этого романа, что-то такое пытался построить в Российской империи, то кто-то непременно в то же самое время и с не меньшей энергией работал над тем, чтобы разрушить им да и другими построенное.

При этом если «строители» имели возможность собираться на виду у всех и всех посвящать в некоторую часть своих планов, то «разрушители», пока они не поменялись

местами со «строителями», должны были, естественно, прятаться, встречаться друг с другом тайно, жить в постоянном напряжении. И только за границей — вне пределов досягаемости российских охранительных служб — они могли свободно вздохнуть, расслабиться и говорить во весь голос: местным властям они там не угрожали, а судьба России остальной мир не очень беспокоила. Поэтому «революционеры» всех мастей с большой охотой проводили свои крамольные собрания вдали от родных осин, а кое-кто из них назад в империю и вовсе не торопился.

Одно из таких собраний в конце апреля 1906 года проходило в Стокгольме. Для участия в нем съехалось более ста человек из разных концов Российской империи и из весьма приятных уголков старой доброй Европы «золотого века», где некоторые из них с большим удовольствием «скрывались». Расселялись прибывшие в соответствии с личными возможностями, а о тех, кто каких-либо возможностей вообще был лишен, позаботилась «партия».

Естественно, «партийные» иждивенцы жили весьма скромно, наслаждаясь непривычной чистотой небогатых апартаментов, арендованных дамами-распорядительницами, а так как многие не знали даже понятного здесь немецкого, не говоря уже о шведском, то им было рекомендовано расселиться попарно и поближе друг к другу, чтобы «не потеряться» и не страдать от мук немоты.

В результате этих расселений в одной из набольших комнатушек на втором этаже над скромным ресторанчиком в доме какой-то стокгольмской фру поселились два молодых человека. Один из них — русский — прибыл первым и в одиночку — кружным путем через финскую глубинку, другой — кавказец со странной фамилией Иванович — ехал в Стокгольм с большой компанией на специально зафрахтованном «партией» пароходе.

Каждый из них своим соседством остался доволен: кавказец — тем, что ему попался в сожители простой, недалекий и симпатичный паренек, к тому же невысокий, как и он сам, что для него было очень важно, а славянин — тем, что суровый и замкнутый нерусского облика человек, представившийся Кобой, неожиданно оказался общительным, веселым и жизнерадостным, а его непроницаемые при первой встрече глаза на рябоватой смуглой физиономии вдруг заискрились теплым дружеским вниманием и добротой.

Когда они после заседаний и «товарищеских чаев» оставались вдвоем, то вели бесконечные беседы обо всем на свете. И здесь кавказец Коба удивил своего соседа

Клима основательным, по его, Клима, меркам, знанием мировой истории и литературы и тем, что мог по памяти цитировать огромные фрагменты довольно непростой прозы.

Однажды они вдвоем прогуливались по набережной, расположенной по соседству с их домом-рестораном, и заметили, что в одном месте этого променада люди вели себя сдержаннее и даже дети здесь не шумели и не бегали. Вскоре они поняли, что все дело в сидевшем там на краю набережной рыболове, оказавшемся королем Швеции. Коба и до этого был раздражен всеобщим шведским демократизмом, полностью лишившим смысла такие родные ему слова, как «классовая борьба», «диктатура пролетариата» и т. п. Вид же короля без охраны и свиты с удочкой в руках в ряду прочих рыболовов привел его в тихую ярость, замеченную Климом, но почему-то вылившуюся на совершенно иной «раздражитель», не связанный с «псевдодемократическим» поведением местного венценосца.

— Посмотри, Клим,— сказал Коба, указывая на другой уголок набережной, где один из «делегатов» их «съезда» разговаривал с кем-то из местных у каменной ограды,— наш жидок сразу же подцепил жидка шведского!

— Вот ты скажи мне,— продолжил Коба с каким-то непонятным Климу пристрастием, от которого его грузинский акцент еще более усилился,— почему они сразу находят друг друга в любом месте? Ведь у нашего жида и у шведского жида нет ничего общего! И почему вообще жид из забытого Богом местечка так быстро становится «своим» в любой стране, осваивает язык и чувствует себя как дома?

— Ты преувеличиваешь, Коба,— отвечал Клим успокоительным тоном,— они такие же люди, как и мы с тобой, но, может быть, те, кого мы знаем, лучше, чем мы, я имею в виду себя, усваивают чужие языки. И среди них есть всякие — образованные и необразованные. Ну какой же, например, из Мартова или Аксельрода глупый местечковый еврей? Они же ведь на равных не только со Стариком, но и с самим Плехановым. Это же европейцы!

— Я не об этом,— гнул свою линию Коба.— Я говорю о том, что получается так, будто у жидов кроме всяких партий, где они с удовольствием состоят, есть еще какая-то своя всемирная организация, членом которой является каждый жид, где бы он не родился, и, если для них эта организация является самой главной, тогда для любой партии и для нашей, конечно, они очень ненадежные люди. Я где-то читал, что если взять по одному жиду, допустим, в России,

Америке, Франции, Англии, Австралии и еще черт знает где, где их только нет, запереть их в пустые комнаты и одновременно дать команду играть на скрипке, то все они, не сговариваясь и не зная друг о друге, возьмут одну и ту же ноту. Раньше я смеялся над этой сказкой, но теперь, поездив по России и здесь вот, вижу, что она недалека от истины.

— Думаю, что, если бы ты увидел на набережной в Стокгольме грузина, ты тоже подошел поговорить. Это во-первых. Во-вторых, евреев в разных местах преследовали тысячелетия. Может, это и сделало их солидарными не только на классовой, но и на национальной основе, а не какая-то там «всемирная организация»! — возразил Клим.

— На Кавказе грузинских евреев не преследуют, а они такие же,— мрачно буркнул Коба.

Клим почувствовал перемену настроения Кобы и мягко сказал:

— Не спеши делать выводы. И постарайся не употреблять слово «жид», оно ведь не кавказское, а польское, и ты можешь обидеть наших товарищей, а среди них есть такие, что тебе очень понравятся, хоть они наверняка состоят во всемирной, попирающей нас, мужчин, организации. Я говорю о женщинах. Ты еврейку пробовал, Коба?

— Не пробовал! — Коба немного повеселел, но не сдавался.— Партия — это боевой отряд, а не «заведения», куда, почти не прячась, заглядывают некоторые твои «товарищи»!

— Революционерам тоже нужно отдыхать,— сказал Клим.— И ты еще все попробуешь, когда тебя будут насиловать наши революционерки. Оседлает тебя кто-нибудь, и ты забудешь о политике!

— Женщина не может быть сверху,— заявил Коба, поняв Клима буквально и завершая разговор. Но последнее слово все же осталось за Климом:

— Еще как может! Сам просить об этом будешь!

2

Через час-другой, зашторив окна и укладываясь спать пораньше, чтобы не поддаться бессоннице светлых стокгольмских весенних ночей, каждый думал о своем. Клим вспоминал горячие губы, ищущие, смелые шаловливые руки и нежные груди одной из «веток Палестины» в русском революционном движении. Коба же оставался во власти своих подозре-

ний. Более того, внезапная непоколебимость его простоватого русачка-соседа в еврейском вопросе породила новую, ранее не занимавшую Кобу проблему, и ее надо было обдумать. Суть же ее выражалась в следующих словах: «Почему у жидов так много защитников. Вот и Клим туда же!»

Коба незаметно погрузился в воспоминания. Он вспомнил, как еще в Гори однажды подбил мальчишек запустить в местную синагогу свинью и запереть ее там. Исполнить намеченное было несложно: свиньи в Гори, по грузинской традиции, не откармливались в свинарниках, а бродили сами по себе, отыскивая пищу, как бездомные собаки, по улицам и огородам, такие же, как собаки, худые и поджарые. Выбор Кобы пал на крупного и крикливого поросенка, принадлежавшего семье Микелашвили. Планируя «операцию», юный гад заранее представлял себе, какие физиономии будут у евреев, услышавших визг ненавистной им твари, когда они придут на утреннюю молитву, как весть об этой шутке облетит весь Гори, и только тогда, чтобы пожать заслуженную славу, выйдет из тени он, Коба, изобретатель и вдохновитель этого подвига.

Однако все вышло по-иному. Рано утром хозяин отправился искать пропавшего поросенка и услышал его крик одновременно с подходившими к синагоге первыми евреями. Освобожденный поросенок с возмущенным визгом бросился к луже и стал пить воду, а Микелашвили и еще несколько грузин, подошедших на шум, сокрушенно качали головами, извиняясь перед евреями, и в один голос с ними просили Господа ниспослать кару на тех, кто надругался над синагогой.

Более того, уже на ближайшей службе отец Акакий обратился к собравшимся в церкви со словами: «Сегодня ночью какие-то негодяи осквернили одну из обителей нашего Господа, забыв о словах Его Сына: В Доме Отца Моего много обителей...»

— Какое дело христианину до синагоги? — спросил один из этих негодяев своего отца.

Виссарион Джугашвили был в тот момент на редкость трезв и серьезен и потому ответил кратко и точно:

— Бог у нас один. Бог Авраама, Исаака и Якова. Других пока нет.

— Будут,— хотел сказать его изобретательный отпрыск, но на всякий случай промолчал, ибо трезвый Виссарион был гораздо опаснее, чем пьяный: убежать от него было труднее.

Триумфа же не получилось, и жажда славы, обуревавшая автора несостоявшейся шутки, осталась неудов-

летворенной. Более того, ему пришлось тщательно скрывать свою причастность к этому позорному событию, и он это запомнил.

Потом от этих давних «дел» память перенесла его к недавнему прошлому, когда он сам находился под впечатлением собственной писанины, посвященной смакованию «национальных составов» «большевиков» и «меньшевиков». В ней он с «цифрами в руках «доказал, что в меньшевистской фракции большинство принадлежит евреям, а в «большевистской» — «истинно русским», исходя из чего «большевикам», как «истинно русским людям», не мешает устроить в партии «погром». Впрочем, эта антисемитская шутка лично «большевику» Кобе не принадлежала: ее придумал другой «большевик» — Алексинский, а Кобе она просто очень понравилась, и ему казалось, что она должна понравиться всем. Поэтому на митинге грузинских и русских рабочих в Батуми он на языке, понятном, как он считал, «пролетариату», развил эту тему.

— Ленин,— сказал «большевик» Коба,— возмущен, что Бог послал ему таких товарищей, как меньшевики! В самом деле, что это за народ?! Мартов, Дан, Аксельрод — жиды обрезанные! Да старая баба Вера Засулич. Поди и работай с ними. Ни в бой с ними не пойдешь, ни на пиру не повеселишься. Трусы и торгаши!

Уже в самом начале этой тирады Коба услышал глухой шум в окружавшей его толпе, а когда дело дошло до «бабы Веры», чья боевая слава еще гремела на Руси, послышались выкрики: «Негодяй!», «Убрать гада!», «Эй, кто ближе, дайте ему в рыло!»

Трусливый от природы Коба растерялся, но тут набежала полиция, разогнала народ, а его и еще двух зачинщиков-ораторов рассовали по камерам батумской тюрьмы. Только там он почувствовал, какого позора он избежал из-за «жидов обрезанных», и этот страх он *им* тоже припомнит!

Злая память и жажда мести были присущи ему с малых лет. Уйдя из семинарии и перебиваясь с хлеба на воду на еще не ставшей для него прибыльной «революционной работе», он свободными вечерами бродил по богатым районам Тифлиса, воспитывая в себе «классовую ненависть». Особо запомнились ему два больших венецианских окна одного из красивейших домов в Сололаки. Из этих окон в сумерках лился яркий, слегка подкрашенный прозрачными шторами, розоватый свет, а там — за стеклом и воздушной тканью почти всегда можно было наблюдать одну и ту же картину: скромно и элегантно накрытый стол, прозрач-

ное красное вино в хрустальных графинах и бокалах, несколько офицеров средних чинов в красивых, будто новеньких мундирах, расположившихся в креслах и на придвинутых к столу мягких стульях, неизменная гитара в руках черноволосого с ранней сединой майора, одна, иногда две очаровательные светлые женщины, на европейский манер сидящие среди мужчин...

Под эти окна Коба приходил неоднократно, и всякий раз его душонку охватывала иссушающая зависть, которую он гнал ненавистью и мечтами о том, как он, Великий Мститель, воздаст всей этой беспечной компании за «народные страдания». Свое получат все, включая недоступных ему (пока!) чистых и светлых женщин. Каждый — по делам своим, и все вместе — за его, Кобы, сегодняшнее бессилие.

Каково же было его удивление, когда он лет тридцать спустя в одном из спектаклей «своего» Художественного театра увидел эту подсмотренную им когда-то картину, воссозданную на сцене великими актерами. Эта картина с новой силой непрерывно манила его, и он потом десятки раз приходил на этот спектакль, чтобы вновь и вновь пережить свою молодость на темных тифлисских улицах, свою зависть и ненависть к этому подсмотренному и недоступному ему прекрасному, сверкающему всеми красками жизни миру, еще раз пережить свою мечту не оставить от этого мира камня на камне и ощутить сладость победы, сладость сбывшейся мечты, сладость свершившейся мести и сладость власти над жизнью и смертью всех этих жалких офицеришек «белой гвардии», сотнями и тысячами расстрелянных по его приказу, и их рыжих стареющих потаскух.

Пройдет время, и от этих мгновенных впечатлений в памяти Кобы почти ничего не останется. И только в подсознании сохранится сладкое чувство похоти смерти, пережитое им однажды в горах западной Грузии и уже по совсем непонятной причине в венском скором, стремительно несущемся к Кракову. Потом, став «вождем», он не раз пытался воскресить это почти неуловимое чувство, наблюдая в глазок, как корчатся, задыхаясь от газа в «сухой ванне» его случайные «подруги», уносящие с собой в крематорий «страшную тайну» мимолетной близости с монстром, однако не только оргазм, но и даже просто возбуждение посещали его во время этих зрелищ крайне редко.

3

Коба еще и еще раз перебирал в памяти свою беседу с Климом и убеждался, что и на этот раз он был неправильно понят. Пусть он по своим личным мотивам жидов не любит, но в основе его высказываний лежит не его предвзятое отношение к этому племени, а лишь забота о «партии». Мысли его просты и ясны: поскольку «большевизм» — движение глубоко законспирированное, то в нем должны состоять исключительно люди ему преданные. К услугам же тех, кто имеет многочисленные «внепартийные» неконтролируемые связи, а жиды именно к таковым и относятся, конспиративное движение прибегать не может. Вот и все. Во время таких раздумий сам себе Коба представлялся рыцарем без страха и упрека, хотя где-то на задворках памяти, скорее в его подсознании, существовали и «страхи», и «упреки», имевшие вполне конкретные очертания некоего мелкого полицейского чина в Верийском квартале, но он сразу же стремился прогнать этот надоедливый образ, доказывая самому себе, что он свои отношения контролирует.

Что касается еврейских погромов, то и здесь его, Кобы, позиция является ясной и четкой: ни «большевики», ни тем более он, Коба, не призывали и не призывают к погромам. Наоборот, они «обличают» вину и участие режима и «сочувствуют» пострадавшим. Но для «большевистского» движения погромы полезны, ибо они дестабилизируют положение в стране, приближают очередную «революционную ситуацию». Борцы же против погромов, естественно, вредны «большевикам» и мешают «революционному делу». Поэтому Коба, читая, например, изложение проповеди епископа Антония Волынского с обличением кишиневских громил в том, что «они уподоблялись Иуде: тот целованием предавал Христа, омраченный сребролюбия недугом, а эти, прикрываясь именем Христа, избивали его сродников по плоти, чтобы ограбить их стяжания», искренне возмущался «двуличием попов», пичкающих людей сказками о преступлениях Израиля, но не дающих излиться возбуждаемым им народным чувствам.

Вместе с тем погромные истории существенно усилили его подозрения в наличии невидимых нитей, связывающих воедино все еврейство земного шара: почему-то, когда в марте 1903 года во время выступления русских рабочих в Златоусте погибло 45 человек и было ранено 83, просвещенный мир

не обратил на это никакого внимания, а когда месяц спустя в Кишиневе произошел погром с несколько меньшим, по сведениям Кобы, количеством жертв (Коба, как Иудушка Головлев, страшно любил цифры, цифры «членов», цифры убитых, любую человеческую статистику), как по мановению руки взвыла вся мировая пресса, в Бессарабию зачастили зарубежные корреспонденты, широкой рекой потекла заграничная помощь. Такое резкое «неравноправие» искренне возмущало Кобу. Увидеть же разницу между людьми, сознательно идущими в бой и погибающими на полях сражений, откуда каждый по своей воле мог уйти, и женщинами, детьми и стариками, убитыми в своих домах, из которых бежать им было некуда, он понять не мог — ни тогда, ни потом, когда он оставлял на убой немцам сотни тысяч беспомощных людей. «Люди есть люди, и все они равны в любых ситуациях»,— так рассуждал он.

4

Не прошло мимо Кобы и явление «Сионских протоколов». Возвращаясь из Таммерфорса с первой всероссийской «большевистской» конференции, он во время пересадки в Петербурге приобрел брошюрку, показавшуюся ему интересной. Называлась она «Корень наших бед» с подзаголовком «Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы вообще и России в частности. Отрывки из древних и современных протоколов Всемирного съезда франкмасонов» и представляла собой несколько расширенную газетную «крушеванскую» версию сфабрикованных Рачковским «Протоколов», вышедшую, как мы помним, еще до ознакомления с ними Столыпина.

И хотя от брошюрки неприятно пахло охранкой, об участии которой напоминало и мгновенное получение цензурного разрешения, и мгновенное издание в типографии Императорской гвардии (?!), Коба все-таки был приятно удивлен этим первым «документальным» подтверждением его предположения о наличии единой еврейской «мировой сети», как бы она там не называлась.

Усвоение же политико-экономической сущности «Протоколов» он отложил на потом, собираясь обратиться к этому опусу уже дома и на досуге. Но даже самое беглое знакомство с отдельными страницами рачковского шедевра убедило его в том, что брошюрка эта содержит ряд довольно полезных для действующего «большевика» рекомендаций

по формированию внутреннего недовольства в стране, дискредитации власти и другим «революционным» мероприятиям. В конце концов рекомендации, как и деньги, не пахнут, и если они дельные, то неважно, от кого они получены и кому предназначались.

Однако по пути домой Кобу в поезде слегка обокрали. Среди похищенных вещей оказался и «Корень наших бед». Последовавшая волна переизданий «крушеванской» версии «Протоколов» в шестом и седьмом годах прошла мимо Кобы, занятого в то время иными «революционными делами», и их текст в совершенно другой редакции очутился в его руках при ознакомлении с бумагами одного из белогвардейских штабов, захваченных на юге России во время Гражданской войны. Эта «нилусовская» версия сразу же попала в число его настольных книг, как и впоследствии ее закономерное продолжение — «Майн кампф» его временного друга Адольфа.

5

1912 год у Кобы выдался урожайным на аресты, побеги, переезды и даже на заграничные поездки. Две из них с разрывом в месяц состоялись в ноябре и декабре. Путь его лежал в Краков: оттуда тогда пытался командовать русской революцией Ильич, перебравшийся после гибели Столыпина поближе к границам Российской империи. В этих встречах «вождя мирового пролетариата» и молодого «руководителя Русского бюро Центрального комитета большевистской партии» одной из главных тем был «национальный вопрос». Чуткий на слух Ильич без труда убедился, что его собеседник этот проклятый вопрос понимает если и не вполне правильно, то во всяком случае именно так, как сегодня нужно «партии», а это для истинного «большевика» важнее, чем какая-нибудь никому не интересная правда. К тому же Коба сам был «националом», и «ленинская линия» в изложении одного национа́ла будет для другого национа́ла более убедительной, чем те же слова да из уст великоросса.

При всей быстроте мысли Ильича переход к поступкам и практическим мероприятиям был у него несколько замедленным. Возможно, здесь вступал в действие последний барьер безопасности, заставлявший его еще раз перед запуском очередной своей идеи в реальный мир обдумать все возможные последствия такой «акции». Так или иначе,

но когда Ильич «созрел», Кобы уже в Кракове не было. Однако, приняв решение, Ильич никогда не шел на попятный, и Коба был вызван вторично.

На радостях от свершения своих планов Ильич поторопился написать Горькому: «Насчет национализма вполне с Вами согласен, что надо этим заняться посурьезнее. У нас тут один чудесный грузин засел и пишет для «Просвещения» большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы».

Но потом собственные познания в части социал-демократического подхода к «партийным» межнациональным отношениям самокритичному Ильичу показались недостаточными, и поскольку на краковские библиотечные запасы он не рассчитывал, то сразу же предложил Кобе подъехать в Вену и поработать в библиотеке этого веселого города под опекой находившегося там в это время Бухарина.

Так «чудесный грузин» Коба неожиданно для него самого оказался на венских улицах. К поручению Ильича Коба отнесся очень добросовестно, и поэтому почти все светлое время коротких январских дней 1913 года он проводил в крупнейших венских библиотеках, а потом не спеша направлялся на Фельбельштрассе, где с помощью какого-то местного «товарища», с которым его познакомил Бухарчик, снял крохотную «меблирашку». Несколько твердо заученных немецких слов позволяли ему решать все бытовые проблемы, а книгохранилища, в которых ему пришлось работать, имели русские переводы многих интересовавших его сочинений Каутского, Бауэра и др. Поэтому практические советы Ильича, как быстро и надежно усваивать материал, опубликованный на незнакомом или малознакомом языке, почти ему не пригодились. Кроме того, поблизости всегда находился великолепно владевший немецким Бухарчик.

6

Венские недели пробежали быстро, и в предпоследний вечер своего пребывания на берегах Дуная Коба был погружен в раздумья, навеянные прочитанными трудами теоретиков практического социализма. Пока он шелестел страницами в старинном читальном зале, ему казалось, как некогда доброму королю Анри IV, слушавшему словесное состязание двух обличавших друг друга адвокатов, что все участники дискуссии правы, но теперь, когда все прочитанное

улеглось и упорядочилось в его от природы великолепно организованной памяти, ему предстояло сделать выбор. Решение, однако, было непростым, и после нескольких попыток сформулировать его для себя на ходу он отложил его на утро — «на свежую голову» и стал просто глядеть по сторонам.

В этот вечер он, как всегда, сделал небольшой крюк, чтобы пройти по блистательной Рингштрассе, где очертания некоторых зданий чем-то напоминали ему парадную часть Головинского проспекта в его почти родном Тифлисе. Нравился ему и знаменитый Бургтеатр. Он попытался прочитать афиши, но кроме знакомого слова «Тристан» ничего не разобрал.

Вскоре он пересек несколько узеньких кривых улиц старого города и взял курс на пятнадцатый городской район, где находилась его «меблированная комната», а его мозг опять вернулся к национальным проблемам. Он вспомнил о том, что его первые стокгольмские выводы о присущей евреям уникальной способности к адаптации в любом окружении и в любой местности лишь укрепились во время последующих поездок в Лондон и затем, в декабре только что завершившегося года, в Краков и Поронин. Теперь же, вдали от «товарищей», он на улицах Вены и вовсе не мог отличить еврея от «коренного» австрийца-венца, и, когда вслушивался в по-южному громкие и достаточно темпераментные «выяснения отношений», ему временами казалось, что тут почти все — евреи, что город буквально кишит ими, хотя эти «наводнившие» город евреи ничего общего не имели с евреями из Гори, собиравшимися в оскверненной им, Кобой, синагоге. Впрочем, зачем было так далеко ходить: торговавшие в Кракове местечковые евреи с востока и юго-востока Австрийской империи ничего общего в глазах Кобы не имели ни с местными евреями-венцами, ни с присутствовавшими на этом же рынке венгерскими евреями. Получалось, что, действительно, евреи — не единый народ с общей культурой и историей, а нечто вроде членов какой-то единой международной организации, и, может быть, авторы брошюрки о «мировом заговоре» евреев не так уж далеки от истины, как ему показалось несколько лет назад.

В то же время перед Кобой был и другой хорошо известный ему пример — армяне, как и евреи живущие в рассеянии несколько веков или даже тысячелетий. Может быть, в таких случаях все-таки проявляются некие невидимые нити, создающие общность людей, близкую к марксистскому понятию «нация»? Но если такие связи существуют, то их совокупность должна, как требует марксизм, иметь свое вполне

научное и материалистическое название, например: «общность психического склада». Если он введет в марксизм это открытие, то как раз этой «общностью психического склада» своей волей марксиста-теоретика он, Коба, поставит знак равенства между евреем-торгашом из Поронина и, например, лакированным умником, встреченным им здесь в Вене у «меньшевика» Скобелева, когда он зашел к нему, чтобы передать пакет от Ильича. Коба сначала подумал, что у того в гостях иностранец: разговор шел на немецком, как он установил по одному-двум знакомым словам, но потом гость попрощался с хозяином на чистом русском языке.

— Кто это? — не удержавшись, полюбопытствовал Коба.

— Вы не знакомы? — схитрил будущий министр труда во Временном правительстве, не собиравшийся знакомить своих гостей друг с другом.— Это Троцкий!

— Слышал, но мы еще не знакомы,— ответил Коба.

Слегка надменная физиономия Троцкого с тех пор часто возникала в его памяти, когда он думал о евреях. И вот теперь он изобрел новое понятие: «общность психического склада»!

«А что, звучит неплохо!» — подумал Коба и решил, что вставит этот термин в свою «работу» и посмотрит на выражение лица Ильича, когда тот до него доберется: споткнется или проглотит?

И лишь остановившись в своих размышлениях на этом удачном термине, Коба вдруг ощутил, что его душа, душа опытного конспиратора, уже некоторое время сигнализирует ему о том, что он находится под наблюдением. Коба был поражен: кому оказался нужен неизвестный русский революционер на сумеречных венских улицах? И тем не менее, проанализировав сигналы, поступившие в его подсознание, он был абсолютно уверен, что темная фигура следует за ним на некотором отдалении уже несколько кварталов, и захотел рассмотреть ее поближе. Он заметил впереди сноп света, падающий из двух больших окон и выхватывающий из подступающей тьмы приличный кусок тротуара.

Дойдя до этого места, Коба сделал несколько шагов и остановился там так, чтобы его из комнат за окнами не было видно и чтобы он мог разглядеть освещенный интерьер во всех подробностях. У него было не менее трех минут до того момента, пока подозрительная фигура попадет в ярко освещенную полосу и поравняется с ним, и тогда он, резко повернувшись к ней, мгновенно оглядит ее от пяток

до макушки и навсегда законсервирует этот случайный образ в своей памяти.

А пока Коба решил полюбоваться открывшимся перед ним мгновением чужой незнакомой жизни. Однако от этой случайно подсмотренной картины у него заболело сердце: там за окном за прозрачными тюлевыми гардинами стоял изящно сервированный стол. На блюдах и тарелках были видны незнакомые Кобе яства, а в хрустальных бокалах и графинах играло в электрическом свете прозрачное розовое вино. Молодой офицер, чей китель был небрежно наброшен на спинку стула, сидел у фортепиано, и его движения сливались с нежной музыкой, слабое звучание которой медленно обволакивало Кобу; за столом вдоль стены, увешанной фарфоровыми тарелками, под портретом императора в свободных позах сидело еще несколько молодых военных, и один из них смотрел на красивую светловолосую женщину с полузакрытыми глазами. Все увиденное так напомнило Кобе «окно классовой ненависти» в Сололаки, что он захлебнулся от ярости и громко сказал на родном языке:

— Я приду и сюда, и тогда под м о и м портретом здесь будут сидеть те, кто сейчас спит в ночлежках и на вокзалах.

В этой своей ярости он потерял счет времени, и только тихие, но четкие шаги, раздавшиеся у него за спиной, напомнили ему, зачем он остановился.

Когда он резко повернулся к прохожему, его глаза все еще горели желтым огнем от распиравшей его ненависти. Он увидел невысокого худого молодого человека, одетого бедно, но аккуратно, с бледным невыразительный лицом. Нижняя часть этого лица выглядела какой-то неоформленно смазанной, а скривившийся рот наводил на мысли об истерии. Впрочем, соединив в своем представлении все эти детали, Коба был поражен: на него смотрели исполненные ненависти, столь же сильной, как и его собственная, чуть водянистые глаза, а перекошенные губы при этом выражали крайнюю брезгливость и, казалось, шептали какие-то проклятия.

«Неудовлетворенный педераст? Проститутка в штанах?» — подумал Коба, ощутив слабый запах дешевого одеколона.

И вдруг этот сразу показавшийся ему знакомым запах напомнил ему одну сцену, коей он совсем недавно оказался случайным свидетелем. Он зашел перекусить в крохотное венское кафе, где кормили вкусно и недорого. Когда подали незатейливую еду, он под непонятный говор посетителей ушел в себя так глубоко, что перестал воспринимать все,

что его окружало, и в эту реальность его вернул какой-то дикий крик. Встрепенувшись, он увидел невесть откуда взявшегося молодого человека, а его крик, временами напоминавший Кобе поросячий визг, оказался речью, содержания которой Коба не понял, но несколько раз его слух уловил слово «юде». Иногда «оратор» был виден Кобе в профиль: бледное лицо, белесые, горящие ненавистью глаза, задранный к небу длинный нос, прядь волос, спадавшая на невысокий лоб. У Кобы не было сомнений, что перед ним психопат, но он с удивлением увидел обращенные к этому психу внимательные лица людей, явно случайно оказавшихся в кафе.

Все эти картины в какое-то мгновенье ожили в памяти Кобы, и он, еще раз, теперь уже мысленно, просмотрев их, был почти уверен, что лектор-истеричка из кафе и сжигающий его сейчас ненавидящим взором «педераст» есть одно и то же лицо.

Коба пропустил своего странного попутчика вперед метров на пятьдесят и пошел следом, внимательно фиксируя особенности его фигуры и походки, когда тот попадал в полосы света, падающего из освещенных окон. Вскоре, однако, пути их разошлись. Он еще раз перебрал в памяти все детали этой странной встречи, но ничего особенного, кроме неожиданного всплеска звериной ненависти, почему-то обращенной к нему, Кобе, в своих впечатлениях не обнаружил. Если исключить этот совершенно немотивированный эмоциональный «взрыв», то оставался моложавый серенький человечек с двумя книжками в руке, юнец, идущий неуверенной от желания выглядеть суровым и степенным походкой к себе домой после каких-нибудь вполне благопристойных занятий.

Впрочем, Коба привык доверять своим первым впечатлениям, и то, что в данном случае ему сразу пришла в голову мысль, что перед ним неудовлетворенный педераст (эту «характеристику» Коба мысленно произнес на родном языке, а для обозначения соответствующего сексуального меньшинства употребил усвоенное на тифлисском Майдане тюркское слово «джалап»), все это было для него признаком безусловного присутствия в окружающем его мире какого-то полового неблагополучия. Однако никакого практического значения это непонятное происшествие сейчас для него не имело, и Коба, прекратив свои психологические упражнения, стал думать о предстоящем возвращении в Россию с заездом в Краков для «отчета о проделанной работе», как любили говорить «товарищи».

Неотвратимо приближающийся час отъезда из Вены заставил его принять наконец окончательное решение в одном весьма деликатном деле, волновавшем его почти весь минувший год после того, как он стал ощущать признаки пренебрежения его услугами на секретной и очень важной для него службе, начавшейся несколько лет тому назад с доверительных отношений с милым «дедушкой» Лободой, опекавшим Верийский околоток в Тифлисе. У Кобы создалось впечатление, что симпатии Виссарионова, Золотарева и других его руководителей по охранительному ведомству склоняются к более яркой и, как они считали, более влиятельной у «большевиков» фигуре другого провокатора — Малиновского.

Коба решил, что пребывание в Вене позволяет ему одним махом решить две задачи: убедиться в том, что Малиновский действительно является его соратником и соперником в тайных делах, и заодно показать своим хозяевам, что в большевистской иерархии он стоит значительно выше этого счастливчика. И он еще в начале своего пребывания в Вене сочинил письмо, а потом много раз возвращался к нему, правил, изгоняя кавказский акцент, переписывал, и в результате у него получился такой вот «интригующий» текст: «Друг, привет. Я все еще в Вене и пишу всякую чепуху. Мы увидимся с тобой. Ответь, пожалуйста, на вопросы: 1. Как дела с «Правдой»? 2. Как у тебя дела во фракции? 3. Как группа? 4. Как Алексей? Ильич ничего не знает обо всем и тревожится. Галина говорит, что отдала Ильичу письмо, которое ты оставил для передачи, но Ильич, вероятно, забыл вернуть его. Я вскоре буду у Ильича и постараюсь взять его и отослать тебе. Привет Стефании и детишкам. Твой Вас»

Еще раз перечитав эти строки, Коба остался доволен: хорошо известный по ту сторону барьера «Вас» выглядел в нем ближайшим другом и доверенным лицом не менее известного там же Ильича, контролирующим все, что творилось у «большевиков», вплоть до действий социал-демократической фракции в Думе. В том, что это письмо обязательно попадет «куда следует», Коба был уверен, поскольку отправил его из Вены открытой почтой, пометив для «конспирации» текст 1912 годом и бросив конверт в почтовый ящик на подходе к своему временному жилью.

Заглядывая в недалекое будущее, отметим, что хитрость Кобы сработала лишь отчасти: письмо попало к его полицейским начальникам, отсутствие каких-либо «последствий» для Малиновского косвенно подтверждало принадлеж-

ность этого «друга» к охранительной агентуре, но Коба продолжал себя ощущать отодвинутым на задворки политического сыска. Обида на эту «несправедливость» у Кобы оказалась сильнее разума, и он пишет Золотареву послание о полицейской «недобросовестности» Малиновского. Такая беспримерная наглость мелкого осведомителя, каким был Коба в глазах «опекавшего» его Золотарева, возмутила этого важного товарища министра внутренних дел. Кроме того, в неожиданной активности Кобы он почувствовал угрозу своей большой игре и потому приказал полиции арестовать и выслать Кобу подальше, чтобы не путался под ногами у серьезных людей. Виссарионов этот приказ выполнил неукоснительно, а от себя добавил строгий повседневный надзор и приостановил выплату жалования. Так уже привыкший к полицейским хлебам Коба оказался в Сибири без денег и без какой-либо возможности совершить еще один из тех «героических побегов», которые ему в недалеком прошлом организовывали коллеги из полиции. Таким был итог Кобиной «интриги», начатой им в Вене небольшим письмецом к «товарищу по оружию», спокойно опущенным им в почтовый ящик перед отъездом к Ильичу.

7

День спустя поезд увозил Кобу с венского Северного вокзала на восток. За окном промелькнули городские окраины Вены, такие неприглядные в мокром январском снегу и слякоти, но Коба без труда представил себе красоту этих предместий в весеннюю пору в буйстве красок, в цветах и зелени, и из темных глубин его души выползло Искушение, представшее на сей раз в виде смутного желания бросить все эти «революционные дела» и зажить нормально: честно заработать деньги и, купив себе маленький домик на окраине какого-нибудь прекрасного города вроде уходящей вдаль Вены, прожить свою жизнь как положено смертному — в уважении, в кругу семьи и добрых друзей.

Коба, однако, вскоре преодолел эту непростительную слабость, и идиллические картины в его сознании были вытеснены другими видениями, в которых он, возвышаясь над «массами», как утес над равниной, указует путь всем этим человеческим стадам, с радостью рушащим пошлую красоту и мещанский уют, созданные ушедшими поколениями, топчущим портреты всех этих Францев-Иосифов и прочих императоров

и высоко поднимающим Его знамя, на полотнище которого запечатлены орлиные профили «вождей пролетариата» и среди них, конечно, Его профиль. Когда же он начинал пристальнее вглядываться в эту созданную его воображением картину, все прочие профили почему-то начинали бледнеть и постепенно исчезали, и только немеркнущее золотое очертание Его Лика продолжало гореть в солнечных лучах на фоне темно-голубого Неба.

Коба улыбнулся этим приятным видениям и, удобно расположившись на мягком диване в своем купе, стал еще раз просматривать записи, приготовленные для Ильича. За этим скучным для тридцатичетырехлетнего горного орла делом он немного вздремнул, потом дремота перешла в сон, а когда, проснувшись, он взглянул на часы, то увидел, что до прибытия в Краков остается не так уж много времени. Он сложил свой нехитрый багаж и, выйдя в коридор, пристроился у окна.

И вдруг произошло странное событие: его без всяких видимых причин охватило острое половое возбуждение. Он оглянулся по сторонам, во-первых, чтобы убедиться, что никто не видит, как вздулись его штаны, приподнятые неожиданно восставшей плотью, и, во-вторых, чтобы осмотреться, нет ли поблизости потенциального источника охватившей его похоти. Но в коридоре не было ни единого человека. И тут Коба понял, что похоть, во власти которой он оказался, была похотью особого рода, похотью не жизни, а смерти. Он вспомнил такое же непреодолимое половое возбуждение, охватившее его во время одной из «экспроприаций», когда его и еще двух «революционных» бандитов узнала, как им всем тогда показалось, какая-то случайно подвернувшаяся под руку женщина, и каждый из них, не сговариваясь, пырнул ее ножом. Ему достался последний удар. Женщина уже не стояла на ногах, и он, погружая нож ей под грудь и прижимая ее к стене, чтобы не упала, пристально смотрел ей в глаза, наблюдая, как их покидает жизнь, и вдруг почувствовал, как совсем не от желания овладеть беспомощным женским телом вот так же, оттопыривая штаны, восстала его плоть. А теперь это чувство, похоть смерти, вдруг вернулось! Почему-то в этот момент в его памяти мелькнуло искаженное бледное лицо молодого «неудовлетворенного педераста» на вечерней венской улице. Мелькнуло и исчезло.

Чтобы отвлечься от непонятных и незваных эмоций, Коба стал внимательно смотреть в окно. Поезд огибал небольшой городок, живущий своей будничной жизнью: лошадь

медленно тянула подводу, людей на улицах было немного, одни куда-то торопились, другие беседовали, встретив знакомых; из печных труб прямо к небу почти вертикально поднимался дымок, обещая хорошую погоду наступающему дню. Чуть подальше Коба увидел более темное и плотное облако дыма, как при начинающемся пожаре, и почувствовал, что оттуда повеяло то ли горелым мясом, то ли тлеющими экскрементами. Запахи эти были ему знакомы по прежним странствиям и побегам — они как бы роднили кавказскую и сибирскую глубинки, дававшие ему приют и укрытие. Но тут они были настолько неуместны и мимолетны, что Коба решил: «Показалось» — и, когда колеса застучали по металлу моста через небольшую речушку, вероятно, приток Вислы или даже саму Вислу, не очень широкую в своем верхнем течении, он еще раз посмотрел на часы. До Кракова оставалось около часа езды.

На пробежавшей мимо платформе какого-то полустанка, который венский скорый прошел не останавливаясь, смешно хлопотали люди. Уже имевший краковский лавочно-базарный опыт, Коба сразу же распознал в них галисийских евреев, вспомнил важную физиономию Троцкого и еще раз подивился многоликости этого народа. «Марксизм прав,— подумал он.— Евреи — это не нация, это что-то другое, и с ними еще нужно будет разобраться». Что он впоследствии и попытался сделать. А пока он порылся в своих бумагах и, отыскав уже слегка потертое письмо Ильича, рассмотрел собственноручно начертанный Стариком план пути от Краковского вокзала на улицу Любомирскую в уже знакомый ему дом. Этот недолгий путь по Кракову он должен был пройти твердым и уверенным шагом, чтобы ни у кого не возникло на его счет никаких подозрений.

8

Отнеся Адольфа к педерастам, Коба был не прав, но сексуальную озабоченность своего «незнакомца» он определил довольно точно. Правда, когда первый венский приятель Адольфа — Райнхольд Ханиш, взявший над ним шефство, позволял себе по отношению к нему некоторые не вполне приличные фамильярности, он иногда возбуждался, но сразу же усилием воли подавлял в себе это влечение, а в своих мечтах постоянно покорял ослепительных белокурых красавиц, сразу же признававших в нем своего властелина и повелителя.

Но как ни трудноразличимы были для Адольфа воображаемый и реальный миры, время от времени смолкала постоянно звучащая в его мечтаниях музыка великого гомосексуалиста Вагнера, и он оказывался в когтях грубой действительности, ожидавшей от него неприятных для его сентиментальной натуры решительных поступков. Поэтому в человеческом мире он ненавидел все и вся, и эта жгучая ненависть не оставляла его ни на минуту, иссушая душу и сердце.

В то же время нельзя было сказать, что ему не везло: постоянно находились люди, ему сочувствовавшие и помогавшие. Это были преимущественно евреи: и доктор Блох, бесплатно лечивший его мать, и Йозеф Файнгольд, который помог ему получить скудное, но крайне важное для него наследство, и помогавший ему сбывать его акварельки Йозеф Нойман, к которому он сбежал, измученный тиранической опекой Ханиша, и столяр Моргенштерн, бесплатно делавший рамочки к его рисункам, и некоторые еврейские религиозные благотворительные организации, помогавшие скромному и учтивому «гою». Обращали на него внимание и женщины, одаривая его на венских улицах многозначительными взглядами. Адольф, однако, не представлял себе, каким образом мужчины проходят этот сложный путь от нескромного взгляда до постели.

Конечно, веселая Вена предоставляла мужчинам и более легкие варианты: по вечерам на тихих улицах ярко светились окна, где за прозрачными гардинами лениво двигались полуголые девушки. На стук окно приотворялось, и после нескольких слов свет гас. Предварительно узнав порядок цен, Адольф однажды, когда ему повезло и в один день «ушли» сразу три его акварельки, сам проделал то, что ему неоднократно приходилось наблюдать издали. Все было почти так, как в его мечтах, только в постели властелина и повелителя из него не получилось, и это, в свою очередь, вызвало новый прилив злобы, направленной на все человечество.

Это постельное поражение радикально перестроило весь воображаемый мир Адольфа: Белокурая Женщина в нем больше не жила, и все его обитатели разделились на два объекта — сам Адольф и «масса», в виде которой представало остальное человечество. Таким образом, «масса» заняла и довольно прочно место Женщины, функции же самого Адольфа при этом не изменились: он остался повелителем и властелином теперь уже «массы». Отличие Адольфа от большинства душевнобольных состояло в присущем ему постоянном стремлении материализовать свой воображаемый мир, и по-

скольку в опыте реализации первого варианта он потерпел неудачу, все его мысли, чувства, вся темная энергия злобы и ненависти обратились в нем на «оживление» второй модели его вселенной.

Теперь в своем воображаемом мире он стегал Женщину плетью, разрывая ее нежную кожу до крови, но почему-то, когда он от возбуждения начинал мастурбировать, картина незаметно и независимо от его воли менялась, и плеть оказывалась в руках Женщины, а ее сильные удары «с оттяжкой» доставляли ему неизъяснимое наслаждение. Потом он многие годы искал эту свою сладкую мучительницу возле ресторанов и пивнушек Мюнхена так активно, что получил у местных котов титул «короля шлюшек», и, наконец, будучи уже всемогущим «фюрером», нашел свою «богиню» в образе ныне забытой «звезды экрана» Ренаты Мюллер, так изящно отхлеставшей его кнутом, что оргазм «сверхчеловека» наступил уже на второй минуте мастурбации, еще до того, как она, по его просьбе, на него помочилась.

Жизнь в мире власти, пусть еще нереализованном, показалась Адольфу даже более сладкой, чем покорение Женщины, и, представая в своем воображении перед волнующейся, уходящей за горизонт нарядной «массой», с восторгом следящей за каждым его движением, готовой безоговорочно повиноваться ему и по мановению его руки растерзать некую другую жалкую и дурно пахнущую «массу» (ее не видно, но он знает, что она где-то рядом), он почти всегда ощущал половое возбуждение, а после затяжных сеансов своего мысленного общения с «массой» даже переживал оргазм, приходя потом в себя от неприятного прикосновения холодных мокрых штанов к еще разгоряченному телу. Некоторое время его смущало то обстоятельство, что внешние признаки охватывающего его острого желания трахнуть свою любимую «массу» могут быть замечены людьми, особенно в первых рядах, стремящихся лизнуть его сапоги, но вскоре выход был им найден: он стал появляться перед «массой», закрывая свои детородные органы кистями рук, сцепленными одним-двумя пальцами в единый щиток либо просто наложенными друг на друга. При этом свободными пальцами Адольф слегка массировал яички и член и вскоре заметил, что эти его собственные прикосновения делают его общение с «массой» более энергичным и действенным. Кроме того, такая позиция позволяла в случае семяизвержения направлять струю так, чтобы мокрота потом не создавала дискомфорта. Конечно, если бы кто-нибудь, оказавшись в курсе сексу-

ально-политических забав будущего «вождя», сказал ему, что он всего лишь примитивный онанист, Адольф бы просто не понял, о чем речь, настолько высоким и безупречным было его положение в созданной им вселенной.

Оставалась лишь самая малость — реализовать этот его прекрасный новый воображаемый мир. Адольф догадывался, что обожающая его «масса» — это не венская проститутка, дверь которой открывается без скрипа и за небольшую мзду. Прежде всего нужно было отыскать эту дверь, а уж потом попытаться в нее проникнуть. И Адольф начал свои поиски. Он стал посещать заседания палаты депутатов, присматривая себе стартовую площадку. Но в парламенте не было «массы», там были личности, хоть и довольно мелкие. Впрочем, именно в стенах этой говорильни, где даже антисемиты после смерти их вождя Люгера утратили свой пыл, Адольф нутром ощутил, что отношения с евреями и к евреям могут стать государственной политикой и что евреи, если их не остановить, проникнут куда угодно, включая немецкий парламент.

Более боевой антисемитский дух царил в рабочих и нерабочих «кружках» и группах, сборища которых он начал посещать одновременно с заседаниями палаты депутатов. В «кружках» каждый мог говорить все, что угодно, но Адольф поначалу молчал, вживаясь в новую в его реальной жизни атмосферу и в особенности жизни на публике. Его интересовало, что объединяет этих людей, заставляя их тратить свой досуг на собрания и встречи, не приносящие им никаких земных благ. Вскоре он понял, что многие люди обладают избытком энергии, не востребованной их пресным бытом, скучным и часто бесплодным трудом, будничной рутиной. В их объединениях не было единомыслия, и лишь в одном они были единодушны — в своей ненависти к евреям. Это был еще один важный довод в пользу того, что воинственный антисемитизм относится к мощным факторам, способным сплотить всех немцев вокруг «вождя», знающего путь к избавлению от еврейского засилья.

В то же время Адольф понимал, что «вождь» народа не должен ориентироваться только на темные инстинкты «массы». Нужна была также светлая, благородная идея. И однажды ему показалось, что он ее нашел: ему в руки попался журнальчик со странным названием — «Библиотека защитника прав белокурого человека». Его издавал и бесплатно распространял как раз в пятнадцатом городском районе, где жил Адольф, некий Йорг Ланц фон Либенфельс, бывший аристократ и бывший католический монах. Мысль о возможности племен-

ного отбора людей поразила Адольфа. Вот то поистине светлое будущее, которое можно уверенно обещать «массе»,— превращение ее в огромное и могущественное племя красивых и вечно молодых белокурых людей, огнем и мечом вытесняющих из дряблой Европы и даже со всей планеты не только евреев и цветных, но и все прочие человеческие отбросы.

Адольф часами просиживал перед зеркалом в своей крохотной комнатушке, и временами ему казалось, что его темные волосы светлеют. Он был даже готов поседеть, чтобы полноправно влиться в белокурое сообщество. Посетил он и автора прельстившей его идеи. Впоследствии Ланц вспоминал, что молодой, бледный и скромный Адольф был очень внимателен к его пояснениям, стараясь не пропустить ни единого слова и, конечно, не замечая, что временами его «учитель» просто смеялся над ним, над собой и над своими собственными «идеями». Тогда еще над всем этим можно было смеяться.

9

Воображаемый мир Адольфа стал от всех этих новых веяний намного интереснее, и он уходил в него в любой момент, когда позволяли обстоятельства, когда можно было отвлечься от житейской суеты. Так было и в тот вечер, когда он увидел на улице непонятную личность, нагло заглядывающую в освещенные окна. До этого момента Адольф никогда не видел «лиц кавказской национальности», и все черноволосые, темноволосые и длинноносые люди были в его представлении евреями или цыганами. Не так давно покинувший Россию Коба был в каком-то длинном, не по-здешнему теплом и не по-здешнему скроенном пальто. Быстрорастущая густая и жесткая щетина затемнила его щеки и подбородок, а отделившиеся пряди длинных темных волос, свисая из-под полей темной шляпы, закрывали уши.

Увидев перед собой такую картину, Адольф, не отличавшийся острым зрением, как-то сразу «почувствовал» присутствие еврея: «фигура в длинном кафтане и с пейсами» — как вспоминал он впоследствии. А тогда он подумал: «Неужели ЭТО может быть немцем?!»

Когда же он увидел, вернее ощутил, отблески звериной ненависти в пожелтевших глазах Кобы, он понял, что перед ним Враг, грязный еврейский низколобый Враг его любимой белокурой «массы», и этот Враг, судя по силе его

ненависти, горящей в глазах и концентрирующейся в каком-то остром и противном запахе, активен и опасен.

С этого момента все в сознании Адольфа стало на свои места. Он понял, что все евреи, в том числе и те, кто втерся к нему, Адольфу, в доверие, кто лицемерно ему помогает и вообще благотворительствует, а также его любимые певцы и актеры, являются членами единой тайной организации инспираторов и подстрекателей, навязывающих «массе» свою волю, и что здесь, в Вене, как он потом напишет в своем «откровении» под названием «Моя борьба», они уже зашли слишком далеко и «хладнокровно, бесстыдно, расчетливо руководят проституцией, театром, газетами и журналами».

После этого своего открытия он несколько дней был в шоке, поскольку подтверждения добытой им истины шли сплошным потоком. Ведь даже его постельная неудача была несомненно спланирована евреями, по указаниям которых подконтрольные им опытные проститутки пытаются навязать молодым белокурым «вождям», а иным себя Адольф уже и не представлял, неуверенность и ощущение собственной неполноценности.

Подтверждение своим открытиям он нашел и в книге Хьюстона Чемберлена «Основы XIX века». Познакомившись с содержанием этого опуса, он, уже поглощенный оккультическими расчетами «чисел судьбы», увидел великое предзнаменование в том, что встретил «еврея в кафтане» в виде Кобы в тот момент, когда нес эти два заветных томика, чтобы в тиши своего одинокого вечера погрузиться в мистические закономерности истории человечества, закономерности вечной борьбы созидающей арийской расы с вырождающейся разрушительной еврейской расой, борьбы, ждущей своего Героя, конечно, в его, Адольфа, лице, способного освободить мир от этого гнусного племени.

Необходимо было начинать борьбу, но здесь, в кишевшей евреями Вене, силы сторон были явно неравными, и Адольф начинает склоняться к мысли о том, что решительные действия он сможет начать только где-нибудь в сердце истинной Германии, где белокурое большинство еще не опутали еврейские сети.

Обдумывание прояснившейся ситуации заняло у Адольфа еще некоторое время, и в двадцатых числах мая 1913 года, через четыре месяца после судьбоносной встречи с «пейсатым евреем» Кобой, он отбыл в Мюнхен. С момента знакомства с изданным там сочинением Чемберлена этот город манил его. Глядя из окна вагона на перрон, где, как и везде

в Вене, кишели евреи, собиравшиеся переехать с Северо-Западного вокзала на Южный, чтобы делать свой гешефт и плести свои интриги в западнославянских провинциях империи Габсбургов, Адольф вернулся в свои грезы, в свой воображаемый мир, в котором он пребывал: и сейчас это был тот же вокзал в такой же яркий солнечный день, но всю привокзальную площадь и ведущие к ней улицы заполняла его любимая белокурая «масса», и эти нарядные магистрали красавицы Вены были полностью освобождены от еврейско-цыганско-мадьярско-славянского сброда. Видения эти были так прекрасны, что Адольф даже не заметил, как состав тронулся и за окном замелькали утопающие в зелени венские предместья. Бедный доктор Зигмунд Фрейд, проводивший этот день у своего приятеля в одном из домиков, по которым скользил безразличный взгляд Адольфа, даже не догадывался, что не видимый ему поезд, дававший о себе знать приглушенным перестуком колес, увозил его потенциального пациента, являвшего собой самую убедительную, можно сказать, классическую иллюстрацию к большинству его сенсационных открытий, объединенных им в понятие «психоанализ», и, возможно, только он, еврей и блестящий венец в одном лице, смог бы объяснить, почему перед невидящим взором Адольфа, скользившим по вечной красоте Природы, вдруг как наваждение возникла фигура Кобы «в длинном кафтане и с пейсами», и он чуть не задохнулся от резкой вспышки злобы и ненависти. Сидевший напротив него в тесном купе вагона человек, в котором даже такой специалист по национальным вопросам, каким считал себя Адольф, не смог бы ни по «запаху», ни по «расе» распознать еврея, с интересом наблюдал поверх газеты и поверх очков за изменениями физиономии Адольфа, сопутствовавшими обуреваемым его чувствам. В этих мимолетных гримасах было что-то очень знакомое ему — известному адвокату по уголовным делам. «Безусловно — потенциальный убийца и, возможно, мой клиент в ближайшем будущем» — таким был вывод этого специалиста, любителя предсказаний и прогнозов. Как мы теперь знаем, он оказался прав лишь наполовину — в первой части своего пророчества, что же касается всего остального, то как раз ему самому и ему подобным предстояло стать «клиентами» Адольфа, а не наоборот.

Но до этого момента оставалось еще ровно двадцать лет, и можно было пожить.

Впрочем, слова «можно было пожить» относятся только к людям Запада, поскольку именно им предстояло

стать «клиентами» бесноватого Адольфа. Для тех же, кому Судьбой было определено родиться и жить восточнее Вислы, тринадцатый год минувшего века — год сближения путей Кобы и Адольфа — стал последним мирным годом в буквальном значении этого слова. Дальше им предстояло прямо из мировой войны шагнуть в революцию и в другую войну — Гражданскую,— в голод и страдания, и только тем, кто выжил в этом «чистилище», стать «клиентами» другого действующего лица этой главы.

Среди этой второй группы европейцев были и те, кто дал жизнь герою нашего повествования — Люсу Флинкеру, появившемуся на свет, когда «мирное» западноевропейское двадцатилетие уже было на исходе. Можно было бы попытаться вообразить, как сложилась бы его личная жизнь, если бы тогда на темной венской улице уже имевший опыт революционного бандитизма Коба убил бы Адольфа, а затем был бы схвачен австрийской полицией, судим и казнен. Но, увы, история не приемлет вариантов, и жизнь Люса будет здесь представлена такой, как она сложилась в действительности и на фоне реальных событий.

Что случилось, то случилось.

Глава третья

Мигранты

Кто же вас гонит: Судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

М. Лермонтов

1

Семья Флинкеров жила в Гродно с незапамятных времен. Несколько веков в этом городе относительно спокойно сожительствовали поляки, евреи, белорусы и литовцы, и их конфликты не выходили за грань бытовых проблем. Трудолюбие и предприимчивость евреев привели гродненскую общину к процветанию, и Гродно стал заметным культурным центром в европейской еврейской диаспоре. Казалось, что так будет вечно, тем более что Российская империя, оккупировавшая эти земли во второй половине XVIII века, поначалу не пыталась изменить сложившиеся в веках внутригородские отношения в «русской Польше».

Однако постепенно ситуация стала меняться. Чтобы укрепить свою власть в этих довольно беспокойных колониях, особенно после восстания поляков в 60-х годах XIX века, имперская администрация стала натравливать друг на друга недавних добрых соседей. По «русской Польше» одна за другой прокатывались волны погромов. Гродно же оказался в числе тех немногих городов, где самые опытные имперские провокаторы долгое время не могли организовать какие-нибудь серьезные «беспорядки». Раздраженные охранительные учреждения решили в качестве катализатора, который, по их «мыслям», мог бы стимулировать желаемое развитие событий, использовать «кровавый навет», но «гродненское дело» оказалось очень плохо подготовленным и, затянувшись на десятилетие, стало объектом насмешек. Впрочем, смеялись далеко не все, так как все эти события высветили два «секрета»: во-первых, то, что «народные» и «стихийные» «возмущения» — дело рук властей, и, во-вторых, что власти не намерены успокаиваться, пока не добьются своего.

Таким образом, гродненская еврейская община оказалась на вулкане, «извержение» которого могло произойти в любую минуту. Жизнь в постоянном страхе устраивала далеко не всех, и началась интенсивная эмиграция, в основном за океан.

Вопрос о выезде из «опасной зоны» встал и на семейном совете Флинкеров, но единства мнений не получилось. Зеев-Ноах Флинкер уже несколько лет находился в постоянных коммерческих отношениях с несколькими западноевропейскими фирмами, неплохо владел немецким языком, дал своему сыну Элиэзеру хорошее немецкое образование и поэтому считал, что семье следует постепенно переместиться на Запад, например в Нидерланды, где находились наиболее расположенные к нему партнеры. Его брату Моше казалось, что вся семья не сможет в пределах одного поколения адаптироваться в совершенно новых и незнакомых условиях, и он предлагал просто переместиться в один из более стабильных регионов Российской империи, где власть для своего самоутверждения в погромах не нуждается, а наоборот, ценя спокойствие, достаточно активно им противодействует в тех редких случаях, когда они действительно возникают стихийно.

Эти семейные обсуждения на разных уровнях продолжались несколько месяцев, но к согласию не привели. Каждый из семейных «вождей» остался при своем мнении и стал готовиться к осуществлению своих планов. Вскоре Зеев-Ноах Флинкер отбыл со своим сыном в Антверпен, чтобы снять удобное жилье и подготовить приезд остальных членов его семьи, а Моше Флинкер со своими чадами и домочадцами направился в Киев, поскольку переселиться в глубь России он не мог — мешала черта оседлости.

2

В Киеве Флинкеры поселились на Подоле, на Большой Юрковской в маленьком двухэтажном флигеле внутри тесного вытоптанного двора с единственным деревом — тополем, возвышавшимся над всеми расположенными поблизости зданиями.

На деньги, полученные при ликвидации своего нехитрого хозяйства в Гродно, и с некоторой финансовой помощью брата Моше взял в аренду маленький магазинчик мужского и женского готового платья тут же на Подоле, на Хоревой, неподалеку от Гостиного двора.

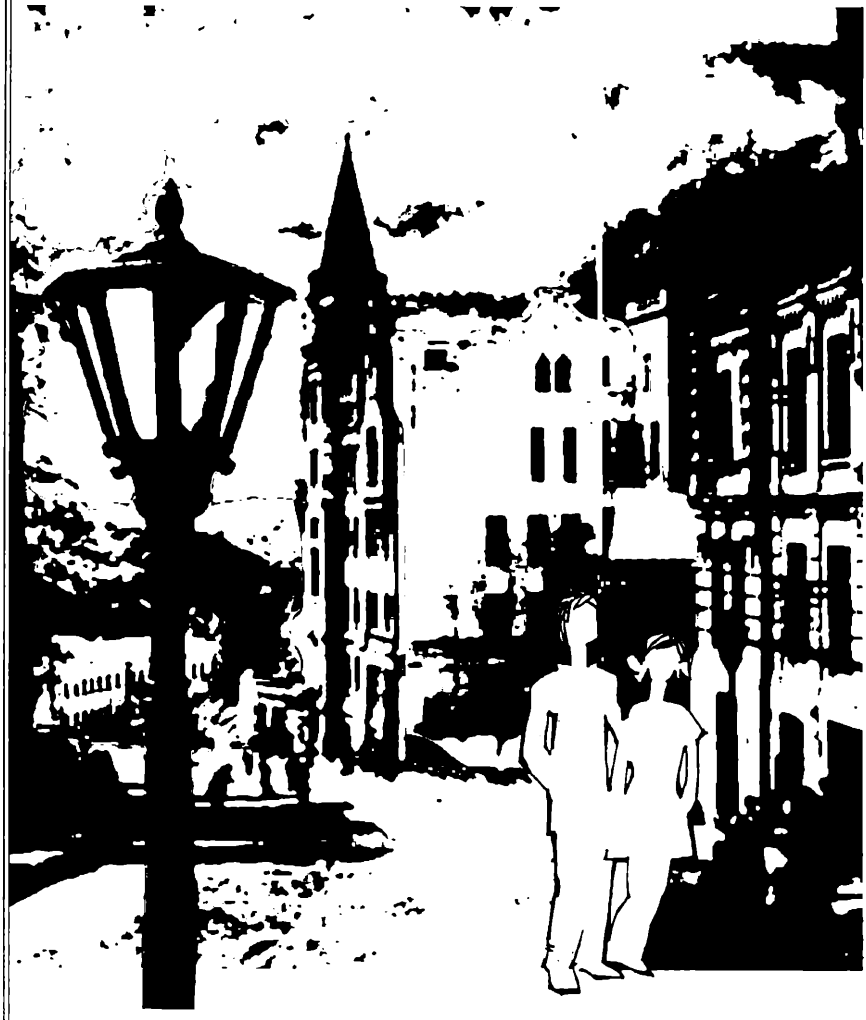
Моше нанял двух продавщиц — молодых девушек-украинок, а сам за прилавком не показывался и сидел

в крохотной каморке, расположенной так, что он хорошо слышал все происходящее в «зале». Полюбоваться красотой девушек, умевших ни к чему обязывающей болтовней создать впечатление своей доступности, приходило много мужиков, и дела Моше пошли хорошо. Вскоре он смог присоединить к своему магазину еще одно помещение, где разместил галантерейный отдел. Присмотревшись к Моше и в делах, и в синагоге, важные киевские евреи приняли его в свою компанию, где полезные советы раздавались бесплатно. По этим советам Моше завел деловые связи в Обществе взаимного кредита, а свои медленно, но неуклонно возрастающие финансовые операции стал проводить через Волжско-Камский коммерческий банк. Через некоторое время Моше уже смог выполнить просьбу жены, с первого дня их жизни на Подоле жаловавшейся на сырость, и переселиться на Малую Владимирскую неподалеку от ее пересечения с Ярославовым валом. Там, в пределах Старого Киева, суровые городовые внимательно следили за тем, чтобы всякий случайный люд, склонный побузить и покуражиться, не собирался числом более трех и побыстрее покидал «чужую» территорию. После 1906 года, когда «революционные настроения» пошли на убыль, семью киевских Флинкеров перестали мучить гродненские страхи, а оживший там призрак «кровавого навета» отступил в свое средневековье.

Десять лет работы позволили Моше с женой предпринять путешествие по Западной Европе. Они побывали в Венеции, Берлине и Копенгагене, а конечным пунктом их поездки была Гаага, куда уже, как ему казалось, навсегда переселился Зеев. Это была предпоследняя встреча братьев, и от последней ее отделяло почти пятнадцать лет, заполненных революциями и войнами, но и сейчас они почувствовали, что семейные связи рвутся и у молодого поколения, даже у их сыновей, выросших рядом, уже нет и, вероятно, больше никогда не будет ничего общего, и не только в их внутреннем мире, но и во внешности: в манерах, в стиле одежды и поведения. Впрочем, кое-что останется, но не «открытая» Кобой через два года после описываемых событий «общность психического склада», а «общность» Судеб евреев на Земле.

3

Вернувшись в Киев ранней весной 1911-го, Моше нашел все семейные дела в идеальном порядке: постарался старший сын, двадцатилетний Яков, которому за усердие была



обещана самостоятельная поездка в манивший его Париж и на юг Франции.

Моше очередной раз задумался о расширении своего «дела», но симпатизировавшие ему киевские еврейские коммерческие волки объяснили, что время процветания торговой мелочи проходит и конкуренции с растущими не по дням, а по часам трестами и компаниями ему не выдержать. Поэтому, может и не закрывая пока свое киевское «дело», ему следует увеличить свой пай хотя бы в акционерном обществе «Волга», у которого он арендовал помещение, а со временем полностью перейти «под крышу» этой компании, руководимой «вполне приличными» людьми.

Поразмыслив, Моше признал правоту своих опекунов-доброжелателей и вскоре побывал у патронов «Волги», поскольку откладывать дела «на потом» он не любил. Как ему и предсказывали его друзья, принят он был весьма благосклонно и вскоре убедился, что о нем у «приличных людей» имеется самая полная информация, включая и такие «коммерческие тайны», как объемы банковского вклада и кредита.

Шефы одобрили решение Моше стать активистом компании, сказав, что «Волга» сейчас расширяет свое присутствие на юге империи, и сразу же, как будто они заранее готовились к его приходу, предложили ему заняться расширением торговой сети в быстро растущем Кременчуге и его окрестностях. Для Моше это предложение было неожиданным, и он даже представить себе не мог, как его Лия, только почувствовавшая прелесть Киева, перенесет еще одно семейное переселение. Поэтому он обещал подумать и на всякий случай бросил пробный камушек, сказав, что, возможно, для организации нового «дела» его сын Яков окажется более подходящим человеком, чем он, Моше, чьи силы уже на исходе. Шефы же, в отличие от Моше, не задумались ни на минуту и даже не обменялись взглядами. Просто один из них сказал:

— Нет возражений. Мальчик хорошо поработал последний год.

И Моше понял, что решения в компании принимаются не сгоряча и что объектом их предварительного изучения был не только он сам, но и вся его семья. Они условились встретиться через два месяца, в середине мая, чтобы окончательно договориться и сразу же начать работу в Кременчуге.

Говорят, что радость и беда ходят вместе и любые хорошие вести Бог и Судьба сразу же уравновешивают плохими. Примерно в те же дни, когда Моше получил заманчивое

предложение и был поглощен мыслями о будущем семьи, в его сознание начали пробиваться какие-то слухи о «ритуальном» убийстве жидами «православного мальчика», чтобы его кровь использовать при изготовлении мацы, поскольку приближалась еврейская пасха. Особенно усердствовали в распространении этих слухов русские студенты из местной молодежной организации «Двуглавый орел».

Поначалу Моше был уверен, что это происшествие замрет на уровне слухов, время от времени непременно возникающих там, где живут евреи. Однако вскоре к этой проблеме подключилась киевская, а затем и имперская полиции, появился «обвиняемый» Бейлис, и «дело» закрутилось. Каждый день помойные газеты выливали на обывателей потоки леденящих подробностей и предположений. За пухнущим делом уже просматривалась фигура Ваньки-Каина Щегловитова, но наступивший месяц май выявил более важную личность, причастную к «процессу», создаваемому из ничего на глазах у изумленной публики: Моше кто-то сказал, что в газетке, которой он, Моше, не только читать, но и подтираться брезговал, в «Новом времени» Столыпин-младший предложил изолировать всех евреев и постепенно их уничтожить.

Кто-то что-то пропищал в ответ, взывая к совести кровожадного братца действующего премьера, но «дело» вдруг стало тормозиться по причинам, тоже связанным с совестью, но совестью тех лиц, у которых она имелась: Ванька-Каин и его премьер-гастучник с удивлением убедились в том, что даже «именем государя-императора» они не могут купить сразу всех русских профессоров, и медицинская экспертиза сразу же стала слабым местом «процесса». На каждую продажную профессорскую шкуру, стоившую не более 4000 рублей за голову, типа Оболонского, Труфанова, Косоротова, известного в ученом мире подонка-фальсификатора Сикорского, обеспечивавшего «научное обслуживание» охранки, нашлись не только зарубежные, недоступные жандармским лапам, ученые-критики, но и неподкупные русские профессора, такие как лейб-хирург Павлов, Бехтерев, Сербский, Каринский и другие, которых, в отличие от безответного в своем далеке какого-нибудь английского, немецкого или французского ученого, объявить «продавшимися жидам» было невозможно.

Однако мутный поток информации и дезинформации, исходивший из всех «лагерей» и подогревавшийся сортирной «поэзией» Буренина и откровениями интеллектуально-полового психопата Розанова, выплескивался полуграмотными

в своем большинстве журналистами на страницы газет и обрушивался на головы обывателей, мобилизуя будущих убийц на подготовку погромов, а будущих жертв — на лихорадочные поиски путей спасения.

В этих условиях Моше был готов на любые условия «Волги», и сам запросился на деловую встречу, как только Яков вернулся из Парижа. После призывов Столыпина-младшего к научно обоснованной расправе над евреями Моше ожидал ускоренного развития киевских событий, но даже описанное выше их замедление не принесло облегчение Моше, не знавшему причин затяжки. Газеты, однако, постепенно перешли на другие сенсации. Публике, да и прессе, конечно, не было известно и то, что одной из главных причин замедления «процесса» было жесткое требование, поставленное Столыпиным Ваньке-Каину, чтобы все было «чисто» — от вещественных доказательств до экспертиз, а с ними- то и получалась заминка. Чисто работать русская полиция и жандармы не умели.

Не зная всего этого, Моше облегченно вздохнул только тогда, когда Яков в начале июня отбыл на два месяца в Кременчуг для изучения конъюнктуры и установления деловых связей. Что бы теперь не случилось в Киеве, его первенец будет в безопасности. Яков решил плыть пароходом. Когда Моше провожал его на пристань, их путь пересекла странная процессия: подвода, груз на которой был тщательно укрыт брезентом, и два конных полицейских, ее сопровождавших. Моше услышал, как кто-то из прохожих предположил:

— Трупы повезли. Опять воровская драка, скоро каждый день так будет...

Неизвестный прохожий отчасти был прав: храбрые русские ребята-студенты из «Двуглавого орла», собрав в одном из притонов на Подоле четырех педерастов, убивших Андрюшу Ющинского, чтобы «наградить» от имени полиции за «хорошую работу», напоили их почти до бессознательного состояния, а затем тихо и спокойно перерезали гадов, имитировав пьяную драку. Особенно старателен был щуплый высокий студентик Лодечка Голубев — тот, кто, застав этих бандитов у Чеберячки, беспорядочно тыкающих свои ножи в мертвое обнаженное тело Андрюши Ющинского, придал этой процедуре «ритуальный» характер. Когда он, взяв нож у одного из подонков, сам показывал, как делать «ритуальные надрезы», он вдруг возбудился и мгновенно кончил в штаны. Бросив нож, он схватил лежавшую на столе тряпку и, оттянув пояс, вытер член и брюки изнутри, а тряпку сунул в карман валявшихся

тут же брюк Андрюши, зная наперед, что в число улик она не попадет. Так оно и случилось: полиция посчитала сей предмет «случайным» и «не заслуживающим внимания». И сейчас Лодечка с удовольствием прошелся своими «надрезами», уже не «ритуальными», а «воровскими», по мертвым харям и телам, чтобы «драка» была более убедительной. В моменты этой своей «хирургии» он внимательно вслушивался в себя, но оргазм почему-то на сей раз не посетил «богатыря», каковым Лодечка себе представлялся. Закончив «дело», Лодечка попрощался со своими «двуглавыми орлами» и в условленном месте сообщил агенту полиции, что воздух очистился и «путь свободен», получив в ответ конверт с заранее известным содержанием. Можно было собирать славно потрудившихся друзей, чтобы в кабинете, а еще лучше где-нибудь в номерах с недорогими подругами повеселиться и дружно спеть «Вива Академия...».

4

Детство и юность Якова прошли в городах — Гродно и Киеве. Кроме того, он только что вернулся из Франции, и поэтому Кременчуг поразил его своим негородским видом, а главное — негородским духом. Жителей в нем было, вероятно, не меньше, чем в Киеве, но не было впечатления города, не было городского единства, с непременным центром общественной и частной жизни. Здесь на весьма обширной территории просто оказались сведенными воедино несколько поселков, и каждый из них в значительной мере продолжал жить своей жизнью, имея свою «ось».

Все увиденное Яков мысленно сравнил с часовым механизмом, если посмотреть на него, например, откинув заднюю стенку ручных часов: там с десяток колесиков разного диаметра с разной скоростью крутились вокруг своих осей, но Что-то все-таки объединяло их в единое целое, заставляя служить единой цели.

В Кременчуге этим «Что-то» были Река и Дорога. Именно пересечение Днепра с Харьковско-Николаевской железной дорогой оживляло здешние места, и по объему транзита сельскохозяйственной продукции Кременчуг не уступал Киеву, а вся местная промышленность практически только обслуживала этот транзит.

Яков объездил не только «городские» районы, часто отделенные друг от друга пустырями, но и прилегающие

зажиточные села и составил подробный отчет обо всем виденном. Уверенный в том, что его предложения шефами будут непременно приняты, он даже предварительно присмотрел помещения, пригодные для аренды под магазины, и так же предварительно договорился об аренде для себя небольшой квартиры.

Когда Яков двинулся в обратный путь, на дворе уже был август. Ему не хотелось опять плыть по реке — движение навстречу течению казалось ему противоестественным, и он решил ехать поездом через Полтаву. Поезд на Полтаву уходил почти что в полдень, и Яков долго стоял у окна вагона, глядя на пробегавшие мимо желтые нивы и села в густых садах.

Вид одной довольно богатой усадьбы вызвал вдруг в его памяти одну картину из времен его недавних странствий по окрестностям Кременчуга: его возница тогда остановился подтянуть ремни и посмотреть, крепко ли держится колесо, а он вышел на дорогу размять ноги и подошел к ладному невысокому забору вот такой же усадьбы. И в это время на крыльцо богатого по тамошним меркам пятистенного дома вышла женщина-брюнетка лет тридцати удивительной красоты. Однако что-то в этом было не так. До Якова не сразу дошло, что женщина красива чужой красотой.

И тут же до него донесся тихий голос, как бы отвечающий на его немое удивление.

— Пан зазырнувся на нашу жыдивку? Другой такой, мабуть, у цилому свити немае! — сказал неслышно подошедший мужичок.

«Конечно же — это еврейка! Но откуда она в этой крестьянской хате?» — подумал Яков, ничего не сказав вслух и лишь взглянув на мужичка, а в это время на крыльцо выбежали две красивых девочки, очень похожие друг на друга и на мать, но та, что постарше, была чуть светлее младшей.

Якова тогда эта подсмотренная им сцена сильно заинтриговала, но никаких разысканий он проводить не стал, смирившись с тем, что увиденное так и останется для него картиной без начала и конца, как и многое другое, что он на своем коротком веку уже успел повидать, особенно в своих путешествиях этого неспокойного года.

В Киеве он застал отца несколько успокоившимся. Город как бы ушел «на каникулы», и никаких тревожных слухов, а тем более действий пока не предвиделось. Яков с удовольствием углубился в свои электротехнические занятия. Электротехника стала его увлечением несколько лет назад,

и в его комнате постепенно образовалась небольшая, но неплохо оснащенная лаборатория. Возрастала и сложность его работ. Он делал интересную аппаратуру, но только «для себя», изредка потешая домашних смешными «самоходными» игрушками.

5

Однако благость и тишина, охватившие Киев в конце лета, были по приближении сентября нарушены приездом царя с огромной свитой, а затем взорваны убийством Столыпина. И опять не обошлось без еврея. И опять в сердце Моше поселилось ощущение близости погрома. Но на сей раз его опасения оказались напрасными: во-первых, гибель «спасителя отечества» никого особенно не взволновала, поскольку киевскому городскому обывателю все инициативы покойного премьера были не нужны и неинтересны, а во-вторых, в этом покушении так четко просматривалось участие полицейских и жандармских чинов, что сама по себе личность убийцы-полицейского «агента внутреннего освещения» Богрова оказалась где-то на втором плане.

Тем не менее Моше продолжал волноваться уже по привычке. Его беспокоило и то, что Яков был шапочно знаком с Богровым — встречался как-то с ним в одной компании и вызвал его интерес, рассказав к случаю о своих электротехнических увлечениях. Богров хотел продолжить знакомство, и теперь отец и сын Флинкеры поняли, зачем ему это было нужно: электротехника последнее время очень интересовала и террористов, и полицию.

Теперь Моше представлял себе, как полиция станет «прочесывать» круг знакомств убийцы, как Якова начнут таскать на допросы. А вдруг поместят «в камеру»?.. Моше, как и большинство евреев-мужчин, считал себя опытным политиком, умеющим рассчитать действия всегда глупых властей на несколько ходов вперед. И его очень удивили слова Якова:

— Что ты, папа, они убьют Богрова скоро и тайно, и никакого следствия вообще не будет!

Еще больше удивился Моше, когда его сын оказался прав: как ему рассказали «знающие» люди, а потом подтвердили газеты, Богрова убили, даже не дав переодеть фрак, в котором он был в театре. Но тут же начались разговоры о «процессе» над полицейскими чинами и охраной, и Моше снова заволновался, а поскольку к этому времени все договоренности с «Волгой» были достигнуты, то настоял, чтобы Яков уехал

из Киева как можно скорее. Яков собрал свою электролабораторию — она поместилась в два тяжелых чемодана — и отправился в Кременчуг, на этот раз в сопровождении Моше, решившего собственными глазами посмотреть, что там и как.

Кременчуг Моше понравился, и в Киев он вернулся успокоенный. В событиях этой осени «весеннее» «дело Бейлиса» как-то сникло и временами вообще казалось каким-то нереальным. Газеты лишь изредка доносили вести о каких-то сменяющих друг друга экспертах.

В то же время само по себе существование этого «дела» требовало хоть каких-нибудь действий, и полиция, шокированная публичным обнаружением связи киевской охранки с убийцей Столыпина, стала совершать серьезные тактические ошибки, одной из которых было поручение следствия по «делу Бейлиса» честнейшему сыщику-профессионалу, начальнику киевской сыскной полиции Николаю Александровичу Красовскому, который уже после завершения «процесса» сказал Василию Шульгину: «Я человек не богатый, но голову есть, где преклонить. Я не женат, живу со старушкой няней, потребности у меня скромные. Единственная роскошь, которую я себе позволяю,— это служить честно».

Красовский получил возможность поработать над «делом Бейлиса» без надзора и опеки свыше: те, кому было положено надзирать, в это время спасали свои собственные шкуры после того, как укокошили Столыпина. «Дело» было совсем простым, и Николай Александрович уже через два месяца неспешной работы, к концу 1911 года, имел его полную картину: знал имена убийц, дислокацию и состав воровской шайки, в которую они входили, знал истинные обстоятельства гибели и мог указать, куда ведут нити и силы, пытающиеся направить в «ритуальную» сторону зверское убийство подростка, совершенное сексуальными извращенцами и садистами. Когда же он доложил о том, что ему удалось раскрыть, он тут же был уволен в отставку как «купленный жидами».

Дело Красовского, однако, не пропало: под впечатлением его разысканий журналист и думский скандалист победили в душе Василия Шульгина монархиста и антисемита, и он вместе со своим отчимом, профессором университета св. Владимира Дмитрием Пихно, опубликовал результаты расследования Красовского в их «семейной» газете «Киевлянин», а потом организовал в Думе рассмотрение «запроса министру внутренних дел о незакономерных действиях чинов киевской полиции по поводу следствия по делу об убийстве Андрея Ющинского».

Моше Флинкер, читая отчет об этом заседании Думы, пришел в ужас, и было от чего: большинство депутатов отклонили запрос, чтобы не сорвать «ритуальный процесс», идущий, как они тогда были уверены, в очень «нужном для страны» направлении.

— Что это за страна и что это за народ, «лучшие люди» которого на деле оказываются идиотами и невеждами? — восклицал Моше, перебирая газеты.— Нет, наш мудрый Зеев прав: нужно ехать на Запад. Там спасение.

Как мы теперь знаем, и Зеев оказался прав лишь отчасти: спасение таки было на Западе, но там, куда Зеев не доехал.

Несколько иначе отнесся к информации о скандале, затеянном Шульгиным в Думе, Коба, добравшийся до вороха старых и новых газет уже в ссылке, поскольку аресты и странствия двух последних предвоенных лет не оставляли ему ни минуты свободного времени. Его внимание привлекла фамилия Гегечкори, пытавшегося разбудить совесть русских депутатов, собиравшихся очередной раз опозорить в глазах всего мира свой собственный народ.

— Проклятый род Гегечкори,— ворчал Коба.— Вечно им больше всех надо! Неужели этот, с позволения сказать, «социал-демократ» не понимает, что чем хуже, тем лучше и что очередной позор и изоляция ослабят наших врагов. Нет, с такими людьми царя нам не победить!

В более позднем номере одной из питерских «вражеских», как Коба их называл, газет он натолкнулся на такой абзац: «Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое хищничество по отношению к людям и уничтожение которой поощряется законом. Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чем состоит ныне обязанность правительства и лучших людей страны».

— А что — неплохая мысль,— сказал Коба сам себе.— Врага тоже полезно выслушать... Перед тем как убить, конечно.

На мгновение в его воображении возник образ еврея с козлиной бородкой — то ли Свердлова, то ли Троцкого.

Коба не знал, что в «Русском знамени» на сей раз вынырнуло мурло Столыпина-младшего, уже провозгласившего этот вариант окончательного решения еврейского вопроса два с лишним года назад. В тот момент Коба был вдали от газет, но Сатана все же проследил за тем, чтобы плетущаяся им цепочка Зла не порвалась.

После этой думской «ритуальной» вакханалии всем стало ясно, что чаша позора будет испита до конца. Впрочем, кретинам из охранки казалось, что они уже ухватили Бога за бороду: все ключи к процессу были у них в руках. Они приступили к формированию состава присяжных. Опытные правительственные психологи-идиоты рассчитали, что силы в судебном заседании распределятся так, что свидетельско-экспертная группа обвинения, ведомая прокурором Чаплинским, будет в основном состоять из криминального элемента ворюг, притонодержателей и проституток (к последним можно было причислить двух-трех задешево продавшихся русских профессоров), а противостоять им будет интеллигенция, и поэтому они решили создать абсолютно «народный» корпус присяжных, призвав к этому общественному служению в основном крестьян из близлежащих к Киеву деревень (кроме них в составе этого жюри была еще пара мещан и один невысокого ранга чиновник), считая, что «простой люд» по обе стороны барьера будет солидарен.

Однако по своей тупости они не учли такой «открытый» Кобой фактор, как «общность психического склада», который тут же и сработал: присущее «психическому складу» украинского крестьянина недоверие к «москалям» обильно подпитывалось на этом «процессе» почти нескрываемыми махинациями русской судейской нечисти, не имевшими никакого отношения к преступлению, а поведение русских «гражданских истцов» Замысловского и Шмакова возбуждало в них чувство омерзения, превосходившее по силе эмоционального воздействия изначальную, крестьянскую настороженность по отношению к еврею. Кто-то из полицейских чинов услышал, как крестьяне-присяжные переговаривались друг с другом: «Про що вони тут говорять? Та при чому тут Бейлис?» Он кинулся по начальству, понимая, что «процесс» проигран, но выровнять переворачивающуюся лодку уже никто не мог. «Дело Бейлиса» шло на дно, а Бейлис фактически ими был оправдан за несколько дней до окончания суда.

После появившейся во время «процесса» в «Киевлянине» статьи Шульгина, юриста по образованию, содержащей подробный разбор «обвинительного акта» киевской прокуратуры, организаторы-провокаторы надеялись лишь на возможность протащить в приговор пару двусмысленных формулировок о «ритуальном» характере происшествия, что им и удалось.

Все это, однако, было ясно лишь «специалистам». На киевских же улицах напряжение не спадало, и даже

Короленко, следивший за каждым шагом «дела», до последнего часа не был уверен в оправдании Бейлиса. Не был в этом уверен и Моше, и поэтому он с несколькими соседями-евреями встретился с полицейскими чинами, опекавшими участок Малой Владимирской и Ярославова вала, вручив им щедрые дары «от благодарных евреев купеческого звания», за что и были получены уверения, что ни одного погромщика в их квартале не будет.

Сам же Моше усидеть дома в последний день «процесса» не смог и, строго наказав домашним не высовывать носа на улицу, отправился к окружному суду. Пока он и другие «болельщики», сбившись в кучки, ожидали оглашения приговора, он видел, как вдали, у собора св. Софии, росла толпа готовых к бою погромщиков. Охранка и епархия приготовили свой план развития событий 28 октября 1913 года: в три часа дня — приговор, признающий Бейлиса виновным в ритуальном убийстве, в четыре — панихида с участием архиерея в Софийском соборе по убиенном младенце Андрюше Юшинском, а потом — факельное шествие и долгожданный погром.

Но запоздалые угрозы присяжным и их семьям только раззадорили крестьян, и они, пропустив мимо ушей прокурорскую болтовню и продажное председательское резюме, без больших колебаний оправдали еврея. Когда кто-то из полицейских, охранявших присяжных, вполголоса сказал одному из крестьян, что они испортили праздник людям, уже приготовившим факелы для шествия, крестьянин подвел итог «процесса» своим тихим ответом:

— Ну нехай вони тепер ці свої хвакели собі в жопу й засунуть.

6

«Дело Бейлиса» стало для Моше самым сильным переживанием в его жизни. Он помнил его во всех деталях до своих последних дней, старался собрать всю литературу об этом «процессе», становившуюся с годами все скуднее и скуднее: «великий народ» хотел забыть о своем позоре.

И когда в тридцать девятом, в год своего тринадцатилетия, Люс приехал с отцом в Киев, чтобы в последний раз увидеться с совершенно ослабевшим дедом, тот в своей старой, «уплотненной» до одной, слава Богу изолированной, комнаты с кухонькой и упрощенными службами, квартире

на Малой Владимирской подробно рассказывал внуку все, то он знал об этом «суде».

Когда Яков и Люс возвращались домой в Харьков после этой встречи, в Полтаве их попутчики вышли, и они в своем купе остались одни. Люс все еще был под впечатлением рассказа деда и выспрашивал у отца дополнительные подробности.

Устав от этих расспросов, Яков сказал, что, когда «процесс» уже пошел, он был в Кременчуге и знал о нем лишь по газетам и по рассказам, но однажды, когда все уже благополучно завершилось, он приехал в Киев по делам и, зайдя в дом, спросил, где отец. Мать приложила палец к губам и тихо сказала, что он молится.

Через некоторое время Моше вышел к ним с Торой в руках, в молитвенной накидке, с просветленным лицом. На немой вопрос Якова он смущенно сказал:

— Мы тут все уговорились в одно и то же время помолиться за одного человека...

Когда выяснилось, что «человек» этот — Василий Шульгин, Яков удивился:

— По-моему, так всем нам нужно скорее молиться за Короленко, а вы молитесь за антисемита!

— Вот и ты уже совершенно не понимаешь нашей веры,— отвечал Моше.— Короленко — Божий человек, и Бог наделил его щедро самыми высокими дарами. Кто мы такие, чтобы молиться за человека, отмеченного Богом? Мгновенное же просветление Шульгина, восставшего против осуждающих невиновного, есть одно из явных чудес Божьих, и мы молимся за то, что Бог и дальше его не оставлял. В рассказах о Назарее есть притча о блудном сыне. Прочитай ее, это не грех, потому что это наша еврейская притча, и ты поймешь логику верующего еврея. Я верю, что Бог внемлет нам, но мой возраст мне уже не позволит проследить Его волю до конца. Сделай это ты, и я уверен, что твоя вера укрепится.

Увы, не только Моше, но и Якову не было дано знать, как были приняты Богом те давние молитвы, но Люс запомнил этот рассказ, и, когда услышал о смерти почти столетнего Шульгина в 1976-м и о том, как сложилась его жизнь, он понял, что молитвы евреев были приняты Богом, установившим вокруг него защитный ореол, укрывший его от подстерегающих каждого человека на этой Земле трагических случайностей и превратностей Судьбы.

Но это будет потом, а пока Люс, выслушав рассказ отца, задумчиво смотрел на пробегавшие мимо чарующие

картины летней Западной Слобожанщины, еще не зная свою собственную Судьбу на этой земле. А до начала Второй мировой войны оставалось в тот день всего лишь полтора месяца.

7

Красивую женщину, которую так захотелось еще хотя бы раз увидеть Якову, звали Соней, и была она замужем за старшим сыном хозяев той богатой усадьбы, где он ее заметил в свой первый «объезд» окрестностей Кременчуга. Ефим Лобода, так звали старшего сына, лет за пятнадцать до путешествия Якова начинал свою службу в полиции Кременчуга рядовым и без памяти влюбился в Соню Герценштейн. Обе семьи были против, но восемнадцатилетней Соне тоже приглянулся рослый светлый парень богатырского телосложения. Деревенский священник покрестил Соню, получившую по крещению имя София, и тихо обвенчал их. Свадьба была скромной, а через несколько дней Ефима пригласил к себе начальник полиции Кременчуга.

— Сколько ты здесь будешь жить, столько тебе будут помнить твою еврейку,— сказал начальник,— и из полиции увольнять тебя нет охоты. Потому предлагаю такое дело: я тебе дам письмо к своему другу в Тифлисе, возьми отпуск дней на десять и езжай к нему. Если ты ему подойдешь, переезжай с Богом. Там будешь счастлив со своей Соней.

Ефим начальство любил, уважал и советом не пренебрег. В Тифлисе он понравился и через месяц после первой поездки начал там свою службу. Соня там если и выделялась, то только красотой, а не обликом. Ефим часто наблюдал, как к ней обращались и на грузинском, и на армянском, и довольно скоро она каким-то совершенно непостижимым для него образом научилась пользоваться в своих разговорах этими непонятными ему языками.

Предсказание кременчугского начальника оправдалось, и его с Соней жизнь в Тифлисе во многом оказалась счастливой. Его богатырский облик при уважительном отношении к людям, порядочность и исполнительность делали свое дело, и вскоре он стал околоточным. Соня вела их постепенно растущее домашнее хозяйство и рожала детей. Правда, первыми были девочки — Верико и Надежда. Свое легкое разочарование Ефим не показывал, надеясь, что следующим будет мальчик. Он тайно дал сам себе слово, если родится мальчик, подарить Соне красивое кольцо.

С первого дня своего приезда в Тифлис они с Соней поселились в Вери и так и остались там, когда Ефим был отмечен повышением. Население Вери было пестрое: поблизости от них не без трений, хоть и не серьезных, жили грузины, армяне, айсоры и несколько курдских семей. Соня оказалась мирным полюсом этого небольшого квартала — к ней тянулись все, кто тут жил, включая собак и кошек, издали узнававших ее голос.

Ефим в глубине души отдавал предпочтение грузинам, но никогда не обнаруживал своих пристрастий и был ровен со всеми «нациями», как он их называл — ему нравилось это малопонятное слово. Народ здесь жил любыми заработками: кое-кто имел постоянную работу, а кто-то трудился где придется, и такие кормильцы подолгу отсутствовали в семье. Великолепная память Ефима позволяла ему следить за всем этим бессмысленным, на первый взгляд, «броуновским движением» и без записных книжек помнить, кто, где и надолго ли находится в данный момент.

Бывали, правда, и более сложные в своем поведении типы. К таким чаще всего относились молодые, еще неженатые мужчины. Женитьба здесь была делом серьезным и ответственным. Чтобы решиться на этот шаг, молодой человек должен был иметь деньги на свадебную церемонию, иногда — на выкуп невесты и всегда — на содержание будущей семьи. Поэтому здешние мужчины, как правило, засиживались в женихах, и одинокое существование где-нибудь в каморке возле большой семьи такого то появляющегося, то исчезающего тридцатисорокалетнего холостяка было делом привычным. Таких своих «клиентов» Ефим также знал наперечет, понимая их заботы и попытки утвердиться в жизни и даже слегка жалея их в их житейском неустройстве.

Следует отметить, что не все «женихи» были полностью откровенны с Ефимом, и подробности жизни и промысла некоторых их них были ему неизвестны. Он, однако, не был за это к ним в претензии, инстинктивно уважая право каждого человека на личную жизнь. Кроме того, он не имел к ним замечаний в части поведения на подконтрольном ему пространстве Тифлиса и свято верил обещанию Библии, что все тайное все равно когда-нибудь станет явным.

Одним из таких «секретных» людей из разряда «женихов» был довольно редко появлявшийся в квартале невысокий молодой грузин, именовавший себя то ли «Кобой», то ли «Иванычем», то ли «Кобой Иванычем». С Ефимом он всегда был приветлив, но улыбка у него была сдержанной, скуповатой,

а глаза иной раз смотрели так, что даже Ефиму, находящемуся при исполнении и возвышавшемуся над «Иванычем» на две головы, бывало как-то неуютно под этим пристальным взглядом.

8

Девятьсот девятый оказался для Ефима счастливым: Соня наконец родила мальчика. Малыша назвали Николаем, Ефим во дворике своего дома устроил угощение для всех желающих, для чего приобрел два небольших бочонка кахетинского. Заходили не только соседи по кварталу, но и все, кто оказался поблизости. Ефим же при полном параде выслушивал бесконечные русские, грузинские и армянские тосты.

Заглянул «на огонек» и Коба Иванович, пропадавший как говорили, «на заработках» в Баку, год, а то и более. Коба, по обыкновению, пил немного, громко не выступал. Подойдя поближе к Ефиму, он сказал несколько теплых слов со своей неопределенной улыбкой, а потом добавил:

— Хочу поговорить, уважаемый Ефим.

— Давай завтра-послезавтра встретимся, спешки ведь нет?

— Нет-нет,— заверил Коба.— Я зайду, когда увижу, что праздник закончен.

Встретились они только через неделю, да и встреча эта показалась Ефиму случайной. Во всяком случае, когда он напомнил Кобе о его желании «поговорить», тот некоторое время вроде бы пытался вспомнить, о чем говорить, а потом сказал:

— Ах, да! Ты, уважаемый Ефим, царя-батюшку любишь?

— Как положено,— солидно ответил Ефим.

— Не скромничай, любишь! Вон сына в его честь Николаем назвал. А он тебя любит?

— Как положено,— уже более смущенно ответил Ефим.

— А хочешь ли ты, чтобы он тебя полюбил по-настоящему. Чтобы ты на его службе стал богаче, чтобы твоя красавица Соня сама не стирала, чтобы твои красавицы-дочки поступили, допустим, в заведение святой Нины, а сын, когда вырастет, стал бы офицером?

— Ну кто же такого не хочет? — улыбнулся Ефим.— Но Бог дает не все, не всем и не сразу.

— Вот мы сейчас Богу и подскажем. Ты, наверное, знаешь, что я — бывший семинарист и умею разговаривать с Богом? Так вот слушай. Когда я в последний раз был в Баку, я случайно — запомни это слово — случайно!— услышал

разговор двух армяшек об их делах в большом заговоре против твоего царя. Думаю, если ты об этом расскажешь, где нужно, ты будешь и повышен и награжден. Как ты на это смотришь?

— Рассказать про умысел против царя — мой долг, независимо от того, буду ли я за это награжден или нет,— отвечал Ефим.

— Ну и хорошо! Дарю тебе возможность исполнить твой долг. Запомни имя — Шаумян Степан. Я слышал, что у таких людей есть еще клички, но я их не знаю, а твоя служба и без кличек отыщет негодяев по паспортному имени. И еще раз запомни — случайно! Ты узнал случайно, а обо мне вообще ни слова. Ведь у них своя полиция, и если мы с тобой станем им известны, то нам конец, а может, и твоей Соне, и всем детям!

Начав свой разговор на северном склоне горы Давида, они зашли в ближайший духан. Хотя духанщик, узнав в Ефиме полицейского, нарочито лебезил перед ним, у Ефима мелькнуло подозрение, что «Иваныча» тот тоже неплохо знает, но это был не его, Ефима, квартал, а внутренняя жизнь чужих кварталов его не касалась. Поэтому, закончив разговор, он спокойно оставил Кобу в отдельной комнате, предоставленной им духанщиком в качестве кабинета, и вышел, чтобы отправиться по служебным делам. Когда он выходил, он столкнулся в дверях этой потайной комнаты с неизвестным ему молодым грузином, и тот, уважительно склонив голову перед старшим, пропустил его.

Коба остался сидеть с недопитым стаканом кахури в руках, задумчиво глядя в низкое оконце полуцокольного этажа, и даже не повернул голову к входящему, а когда тот спросил его по-грузински:

— Кто это такой и что он тут делал? — Коба, так и не посмотрев на своего коллегу, также по-грузински спокойно ответил:

— Он хорошо помогает нам там, где он служит.

9

Поколебавшись несколько дней и выработав безопасную для себя версию получения информации, полностью скрывающую «Иваныча» от подозрений в причастности к этому делу, Ефим доложил по начальству. Результатом этого доклада стал разгром бакинских большевиков и арест Шаумяна. Высокое начальство поинтересовалось истоками этого успеха,

и Ефим был этому начальству представлен. Он получил повышение и именную саблю, украшенную серебряным чеканом. Но более всего его удивило, что стали сбываться и другие предсказания Кобы: когда губернатор пожелал познакомиться с семьей удачливого служаки и на пятиминутной аудиенции, очарованный красотой Сони и девочек, спросил старшую, чего бы она больше всего хотела, та безо всякого предварительного наущения заявила, что хочет учиться в заведении святой Нины. И это ее желание было тут же отмечено высоким распоряжением. Коба же после их последней встречи куда-то исчез и, как казалось тогда Ефиму, навсегда.

Ефим по согласию с Соней не стал покидать Вери, но его хорошо оплачиваемая служба в управлении изменила быт семьи. Они присоединили к своей небольшой квартире еще три комнаты, две из них стали детскими. В помощь Соне по хозяйству была нанята пожилая армянка, и Соня получила возможность время от времени посещать с девочками родной Кременчуг, спокойно оставляя Ефима и маленького Николая на попечение Сони-старшей — так в семье они называли Саноат, полюбившую их всех как свою родню, вырезанную турками в Анатолии. В один из таких приездов Сони с дочерьми на Украину ее случайно и увидел Яков.

Но счастливые годы бегут быстро, а все эти семь лет, начиная с 1910-го, были для Ефима счастливыми, и даже начавшаяся где-то война, большая и кровавая, несмотря на относительную близость ее турецкого фронта, в самом Тифлисе ощущалась мало, разве что появлением лазарета, где за ранеными солдатиками ухаживали в качестве сестер милосердия девушки и дамы из лучших тифлисских домов. И лишь когда второе десятилетие века перевалило за свою половину, в «кавказском Париже» стала постепенно ощущаться неустойчивость во всем, начиная от прочности власти и до цен на базарах, всегда играющих в жизни любого восточного города огромную роль.

Неумолимо приближались и новые семейные заботы: подрастали дочери, нужно было думать о замужестве старшей. Если бы равновесие жизни не нарушилось, она, как и все выпускницы заведения святой Нины, ни на минуту не задержавшись в девках, получила бы достойного жениха — русского офицера или чиновника либо сына зажиточных грузин из какого-нибудь почтенного рода. Но теперь все изменилось: война требовала все новой и новой молодой крови, стали редкими балы, а некоторые далеко смотрящие русские чиновники стали потихоньку уезжать в Россию.

Ефиму очень не хотелось покидать этот полюбившийся ему край, и он держался до последнего. Только когда старая власть полностью перестала существовать, а новую захватили местные «революционеры» разных мастей, образовав какое-то отдельное государство, и когда к нему по старинке поступила «абсолютно точная» информация о готовящихся широких столкновениях между армянами и грузинами, он принял решение возвратиться в Украину, и будь что будет. Он понимал, что для него и для его семьи начнется новая жизнь, но ему, крестьянскому сыну, физическая работа не была страшна, и инстинкт потомственного земледельца гнал его туда, где он может «сесть» на землю и жить собственным трудом, приобщая к нему и остальных своих домашних.

10

Более чем через полвека после этих событий, будучи уже на пороге смерти, тетушка Верико рассказывала своему племяннику Люсу об их тогдашнем бегстве из Тифлиса:

— Я уже видела, что в армянские дворы сносится оружие, а в комнате моей подруги Мариам на столе стоял пулемет. Его дуло было спрятано между цветочными горшками и направлено в сторону Куры. Один наш сосед-армянин выторговал у отца именную шашку, отделанную серебром. Он все говорил, что, обнаружив эту шашку, красные расстреляют Ефима без суда и следствия.

Этих денег хватило на поездку в Батум. Я помню, как мы с твоей мамой и бабушкой зашли в пустую квартиру, вещи уже были снесены во двор, а по комнатам ходили встревоженные кошки, они жили во дворах и у других людей, но очень любили твою бабушку и часто приходили полежать на подстилках, а то и на диване и тахте и «поговорить» с Соней. Теперь они не находили своих привычных уголков и от этого плакали очень жалобно.

Потом мы ехали в тесном вагоне очень медленного поезда, потом почти двое суток жили на вещах в Батуме, а отец мотался в порту, искал транспорт, чтобы ехать дальше. Наконец мы погрузились на какой-то грязный пароход. Отец сказал, что это «угольщик». Мы расположились на палубе в указанном капитаном месте и сделали себе навес, под которым можно было только лежать. На пароходе было еще много всякого народа, а в Сухуми добавилась большая группа

монахов из Новоафонского монастыря. У монахов был мешок больших бубликов, и они их раздавали людям.

Но через день, где-то у Новороссийска, вдруг заболела и быстро умерла одна девочка. Все решили, что у нее был брюшной тиф и что заразилась она, съев монаший бублик. Поэтому монахов заставили выкинуть бублики в море. Пароход в это время стоял на рейде, и бублики плавали вокруг, а с ними играли дельфины, смешно пытаясь их поддеть носом и выпрыгнуть с бубликом на носу из воды.

На четвертый или пятый день мы прибыли в Ялту и решили выйти там, хотя «угольщик» должен был плыть дальше в Севастополь, где была железная дорога. Но помню, говорили, что там еще «неспокойно», да и устали мы просто.

Мы выгрузились. Отец был очень капризен по части еды и сильно ругался, что он вот уже скоро десять дней «без горячего», как он привык в Тифлисе. Мы прямо рядом с портом собрали выброшенные на берег сухие ветки, отец принес с расположенного рядом базара овощи, и мама сварила на костре тут же на берегу моря постный борщ. Отец съел, наверное, полкастрюли и приговаривал, что такого вкусного борща он не ел никогда в жизни.

К этому времени «угольщик» еще не ушел, и к тому же выяснилось, что в Севастополь он не зайдет, а, побывав в Евпатории, обогнет Тарханкут и, постояв в море у Ак-Мечети, чтобы что-то там перегрузить на фелуки, войдет в устье Днепра и станет в Херсоне. Это отца обрадовало, и мы погрузились снова. Путь вверх по Днепру не получился, и от Херсона нам пришлось ехать поездом, вернее несколькими поездами, но добрались все-таки...

Люс и тетушка Верико сидели за небольшим столиком в лоджии. Последняя земная обитель Верико была в Сабуртало на высоком этаже, и поэтому за окном был виден волшебный профиль вечной горы Давида, освещенный последними лучами вечернего солнца. Люс представил себя там, возле верхней станции канатной дороги, и закрыл глаза, чтобы вызвать в памяти панораму Тбилиси, открывающуюся оттуда. И он искренне порадовался за Верико, что она нашла тогда в чуждой ей Украине силы, чтобы, преодолев все препятствия, как можно скорее вернуться сюда, где так хорошо началась ее жизнь, и почти безвыездно прожить в этой неземной и несравненной красоте среди людей, знавших ее в юности, и в радости, и в печали, все отведенные ей Богом дни. Большего счастья для человека на Земле он себе представить не мог.

Это случилось в XX веке

(киноповесть в 94 сценах)

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Осип Мандельштам

Сцена 1. **1998 год, лето. Харьков. Ранний рассвет летнего дня.**

Квартира в доме нового жилого массива на окраине большого города.

Из окон видно место расстрелов в декабре 1941 — январе 1942 года.

Пожилой человек с лицом, на котором лежит печать долгой нелегкой жизни и испытаний, спит на диване.

Просыпается, как от тяжелого сна. Выходит на балкон.

В метрах двухстах от здания, расположенного на краю городской застройки, за пустынным полем клубится туман. Человеку кажется, что туман превращается в скопище полуживых и мертвых тел.

Он явственно слышит стоны умирающих и тихий, как вздох, женский голос: «Люс...»

Возвращается в комнату и тщательно закрывает дверь на балкон.

Снова ложится на диван. Закрывает глаза, но не может заснуть: ему кажется, что стоны и приглушенные крики проникают в комнату сквозь закрытые двери и окна.

Он мечется в своей постели и наконец забывается беспокойным сном.

* * *

Сцена 2. **Позднее утро того же дня.**

Прибытие интервьюера и видеооператора, работающих по сбору аудио- и видеоинтервью с евреями, пережившими нацистскую оккупацию, в рамках одной из программ изучения Холокоста.

Обычные представления, объяснения, установка видеокамеры.

Начало интервью. Слова интервьюера:

— Сегодня, 25 мая 1998 года, я, Кранцфельд Яков, провожу видеоинтервью с пережившим Шоа Ильей Флинкером. Прошу вас, Илья, перед этой видеокамерой рассказать все о себе, о своих близких, о друзьях и врагах и о своей жизни до начала Второй мировой войны, во время этой войны и после ее окончания. Начните, пожалуйста, свой рассказ с того, что вы помните лично и знаете со слов родственников о своей семье.

Илья глубоко задумывается, пытаясь привести в порядок свои воспоминания.

— Когда я был маленьким, я свое имя — Илюша произносил «Люса», и в семье меня называли Люсом, а потом это домашнее имя стало известно мальчишкам, затем школьным друзьям, и так оно закрепилось за мной на всю жизнь,— начал свой рассказ Илья Флинкер,— правда, в течение нескольких лет я носил совсем другое имя, но почему и как это случилось, я расскажу позже.

Мать мою звали Рахиль. Она была родом из какого-то еврейского местечка неподалеку от Литичева на западе Украины. Отец — Яков Флинкер — тоже был украинским евреем, но если о родителях матери у меня сохранилось смутное воспоминание: последний раз я видел их, когда мне не было еще и пяти лет, то о предках отца мне ничего неизвестно, и по тому, как в моей семье смолкали разговоры, когда речь заходила о них, я всегда подозревал, что с его происхождением была связана какая-то тайна. Тем более что внешне он не походил на еврея, и я помню, какое удивление появлялось на лицах незнакомых ему седобородых старцев в ермолках, когда он обращался к ним на идиш.

Свою историю, историю их встречи ни мать, ни отец рассказать мне не успели. Кое-что об этом я узнал уже после их гибели — после войны от немногих родственников, которым удалось ее пережить.

И если судить по этим рассказам, то вот как это было...

Рассказ Люса переносит читателей и будущих зрителей в далекое прошлое.

* * *

Сцена 3. **1921 год, весна.**

Еврейское местечко на западе Украины. Бедные хаты-мазанки. Некоторые — под соломенными крышами. В одном из трех каменных зданий располагалась синагога. Сейчас стены этого здания в трещинах, дверь заколочена досками крест-накрест. Раввин погиб во время погрома, устроенного то ли Первой конной, то ли бандитами. В местечке идет искоренение «буржуазных» и «контрреволюционных» «элементов». «Буржуев» и «контрреволюционеров» «выявляет» команда чекистов. Четверо из них в буденовках с винтовками с примкнутыми штыками, с явно уголовными физиономиями и татуировкой на руках (имена, сердце, пронзенное стрелой, кресты). Пятый — комиссар в кожаной тужурке и офицерской фуражке без кокарды, с болтающимся на поясе маузером в кобуре, выглядывающей из-под полы тужурки.

В этом комиссаре (к нему его команда обращается «товарищ Борис») люди узнают Берку из соседнего местечка, не освоившего к своим тридцати годам ни одной полезной профессии и не раз битого «до революции» за воровство и мошенничество на ярмарках. В глазах своих бедных, но уважаемых родителей Берка был позором семьи.

И вот теперь этот отщепенец прибыл в родные места как представитель новой «рабоче-крестьянской» власти.

«Контрреволюционных» элементов (на эту роль подошел бы раввин) в местечке не оказалось, и «товарищ Борис», взломав дверь в синагоге, устроил там свой «штаб», где и допрашивал «буржуев».

«Буржуев» же в местечке удалось выявить двоих: Шмуля, занимавшегося извозом и имевшего единственную в этом местечке лошадь, и деда Люса — Фроима, державшего мелочную лавку, доходов от которой на содержание его семьи — жены и двух дочерей — хватало не всегда.

От одной из этих дочерей — своей тетки — Люс и узнал всю эту историю. Узнал и о том, что его мать —

юная Рахиль — была изнасилована одним из пьяных «чекистов», и о том, что после этого наезда новой власти семья его деда по материнской линии бежала из местечка на юг Украины, где уже обосновался кто-то из дальних родственников.

* * *

Сцена 4. **1926 год, лето.**

Северная безлюдная до этого часть Крыма, где на ранее пустовавших выжженных солнцем землях, заселенных еврейскими переселенцами, образованы два административных района — Фрайдорфский и Лариндорфский.

Представители «Агроджойнта» принимают новых евреев-переселенцев. Среди них семья деда Люса с прибавлением: у одной из дочерей — будущей матери Люса — четырехлетний сын.

Светлый, но пустой дом.

Деда зовут на собрание.

Собрание происходит под открытым небом. Выступает представитель «Агроджойнта», еврей — производитель строительных работ — молодой инженер из Симферополя.

— Мы, то есть «Агроджойнт», свою работу закончили. Стены в ваших домах покрыты грунтовкой, по которой вы сможете покрасить их в любые цвета, какие вам и вашим семьям понравятся! — заканчивает он свою речь.

Собрание недоуменно молчит.

Потом седобородый старик в широкополой черной шляпе возмущенно возглашает:

— Так что это мы «Агроджойнту» должны еще и стены покрасить!

Дед Люса также громко говорит на идиш:

— Уважаемый ребе, вы забыли: теперь эти стены ваши, а не «Агроджойнта».

Все смеются.

Дед Люса Фроим возвращается в свой дом и застает в большой комнате всю свою семью, сидящую на нераспакованных узлах.

— Все! — говорит он им.— Здесь мы будем жить!

В предшествующих странствиях семьи по югу Украины к семье пристал парень, родители которого, по его словам, погибли при еврейском погроме

во время Гражданской войны. Живя в семье, он полюбил и будущую мать Люса, и ее «байстрюка».

Этот парень носил хорошее еврейское имя «Яков», но был светловолосым, с голубыми глазами и ровным прямым носом.

Его привязанность к Рахили была замечена в селе.

— Это же гой! — сказали Фроиму старики.

— Он нам подходит! — ответил дед Люса, прекратив дальнейшие обсуждения.

Первая еврейская свадьба в поселке, организованная на средства «Агроджойнта», продолжавшего опекать эту общину.

* * *

Сцена 5. **1932 год, лето.**

Этот же дом с явными признаками достатка. Богатое подворье. Молодые фруктовые деревья. Виноград. Оросительные каналы. Во дворе много птицы, собака, кошки. Сарай и погреба забиты продуктами. Нарядный и аккуратный поселок. Четырехлетний Люс играет со своим старшим братом. Мать, отец и дед после трудового дня отдыхают во дворе, любуясь детьми. Бабка возится по хозяйству.

Но разговор взрослых посреди всей этой идиллии — очень тревожный. Речь идет о том, что требования «организовать колхоз» становятся категорическими и что в поселок уже откуда-то прибыл «председатель» будущего колхоза — «гой», окруженный пришлыми и местными «активистами».

На сельской улице, где по вечерам собираются старики, тоже разговоры только о колхозе.

— Не послушались мы три года назад Моню-сиониста,— говорит один из них,— теперь бы у нас была коммуна, и к нам не приставали бы с этими колхозами.

— Нашел, что вспоминать. Моня теперь за тремя морями — в Палестине, и там строит свою коммуну, а нам что делать? — спрашивает другой.

— Не в этом дело, евреи, не в этом дело! Тут не наше благо, о котором все вроде бы пекутся, а что-то совсем другое,— печально говорит Фроим, дед Люса.

Исторический фон сцены — кадры о «коллективизации». Выступления Сталина и других «вождей».

* * *

Сцена 6. **1933 год, ранняя осень.**

Пустые улицы того же поселка. Пересохшие оросительные каналы. Потрескавшаяся земля. Некоторые изгороди вокруг подворий сломаны.

Тот же двор. Пустой. Нет никакой живности. Семья в сборе и отрешенно смотрит, как свора дюжих молодцов в красноармейской форме, выломав стену сарая, выносит последние два мешка с зерном и грузит на подводу. Двум «красноармейцам» показалось, что в сенях дома под полом есть глубокий схрон, и они ломом срывают доски пола, переговариваясь между собой. Один из них говорит окая, с волжским акцентом:

— Ты смотри, сколько добра у этих жидков! А мой батя мне сколько раз сказывал, что жид к земле не пристанет и никакое хозяйство у него не получится, а тут как все ладно было!

— Повыдуривали где-нибудь или накрали у православного люда, ты что, их не знаешь?! — отвечает ему другой, не обращая внимания на находящегося рядом Фроима.

— Что вы делаете? Где ваша совесть? Вы же мою семью обрекаете на годную смерть! — со слезами в голосе говорит дед Люса.

— Ты смотри, жид о совести вспомнил! — весело воскликнул волгарь.

— Подохнешь ты, дед, со своим выводком. Меньше пархатых на земле будет, и то славно! — спокойно говорит другой «красноармеец».

Наконец экспроприаторы, прихватив пару ведер и медный таз для варки варенья, весело покидают двор.

Семья остается во дворе.

Женщины плачут.

— Вам нужно ехать! — говорит дед зятю.— Спасайтесь.

Куда ехать? Речь заходит о родном брате деда, обосновавшемся в конце 20-х годов в Харькове и ставшем каким-то «начальником» на одном из заводов.

— Он поможет!

Дед и бабка слезно молят молодых бежать из умирающего поселка, а они, оставшись сами, как-нибудь прокормятся с огорода.

В конце концов отец и мать Люса решают на рассвете уйти в Джанкой, чтобы оттуда уехать в

Харьков. Проводив их, дед и бабка в разоренном доме ложатся в постель и долго лежат с открытыми глазами. Взгляды их тихо угасают.

* * *

Сцена 7. **Ранний рассвет следующего утра.**

В утренних сумерках по степи движется цепочка людей: впереди мужчина, за ним пятилетний мальчишка — Люс, которому помогает двенадцатилетний подросток. Замыкает эту цепочку женщина. Их накрывает молочно-белый туман с запахом гнили, ползущий от Сиваша. Всходящее солнце рассеивает туман.

Через некоторое время на их пути возникают окраины Джанкоя.

Большая железнодорожная станция (Джанкой).

Отец Люса ушел вперед и через пути подошел к платформе, заполненной людьми с узлами и чемоданами. Понаблюдав за происходящим у вокзала, он увидел патруль, проверяющий документы, и вернулся к семье.

— Нам нельзя туда,— сказал Яков и снова отправился по путям искать попутный товарняк.

Наконец он находит нужный поезд и договаривается с обер-кондуктором.

— Визьму я тебе, хлопче, з жинкой та дитьми. Але в мене теж е жинка и дити,— говорит ему обер.

Яков молча показывает золотой червонец.

— Добре. Веди своих.

Обер-кондуктор помещает Якова с семьей в пустую теплушку и навешивает снаружи пломбу на засов раздвигающихся дверей. Все сидят в молчании и только, когда поезд трогается, разрешают детям тихо переговариваться.

* * *

Сцена 8. **Конец 30-х годов. Харьков.**

Коммунальная квартира на третьем этаже трехэтажного дома в центре города неподалеку от большой синагоги, ставшей рабочим клубом имени какого-то Интернационала. По слухам, эта квартира до революции принадлежала университетскому профессору. Сейчас в ней, кроме Люса и его родителей, размещаются еще четыре семьи (по числу комнат). Соседи — русские и украинцы — живут без ссор и обид, вместе отмечая праздники (государственные — шумно, а религиозные, хри-

стианские и еврейские,— тайком). Отец Люса освоил профессию электрика и стал мастером по электроустановкам на одном из харьковских заводов. Все соседи зовут его чинить проводку и электроприборы, а в одной маленькой пекарне на соседней улице он даже сделал электропечку для мацы. Для себя собрал довольно сильный радиоприемник. Иногда в нем раздаются голоса Гитлера и Геббельса. Мать Люса знала немецкий язык — ее в детстве учила немка, обучавшая дочку раввина. Она переводит слова бесноватого, касающиеся евреев.

* * *

Сцена 9. **1938 год, лето. Харьков.**

Отец Люса, Яков, по пути с работы заходит в пивную неподалеку от дома. В одиночестве пьет пиво. Вдруг его из задумчивости выводит пьяный разговор за соседним столиком-стойкой.

— Да будет у тебя квартира, не переживай. Хорошая квартира! Ты и мечтать не мог о такой. Вот доработаю ее хозяина и освободим ее для тебя,— убеждает своего собеседника один из собутыльников — человек с бесцветным лицом в полувоенном кителе.

Через некоторое время Якова пригласили в дом напротив починить утюг. Большая квартира без «коммунальных соседей». Признаки достатка. Отец Люса предварительно расспросил тех, через кого было передано это приглашение, и узнал, что там живет важный ученый из физико-технического института. Еврей.

Когда Яков разобрал утюг, в комнату вошел сам ученый. Наблюдает за работой Люса. Расспрашивает, где он работает, не хочет ли перейти к ним в институт.

— Я любуюсь вами,— говорит он.— Как у вас все ловко получается. Нам в институте такие люди просто необходимы. У нас светлых голов много, а ловких рук не хватает!

В это время громкий стук в наружную дверь. Вваливается команда из четырех человек. Предъявляют какие-то удостоверения и бумажки.

— Здесь прячется японский шпион!

Задерживают всех, кто был в квартире, включая домработницу и отца Люса. Потом уводят «японского шпиона», а остальным бросают:

— Понадобитесь — из-под земли достанем!

В том, кто командует «оперативниками», Яков узнает одного из тех, кого он недавно видел за соседней стойкой в пивной. На этот раз «товарищ начальник» трезв и взгляд его цепок, почти материален. Люс быстро отводит глаза, боясь, что он его узнает. «Что ж, квартира действительно хорошая»,— думает он, уже зная по приглушенным разговорам «в народе», чем все это кончится для профессора и его семьи.

* * *

Сцена 10. **Конец 1939 года. Харьков.**

Люс выпросил деньги, чтобы сходить в кино на фильм «Профессор Мамлок», но, когда пришел в кинотеатр, увидел объявление, что фильм демонстрироваться не будет «по техническим причинам».

* * *

Исторический документальный фон: кадры событий в Германии. Контакты сталинской и гитлеровской администраций. Раздел Польши. Начало Второй мировой войны.

* * *

Сцена 11. **Поздняя весна 1940 года. Харьков.**

Открытие немецкого консульства на одной из центральных улиц города. Люс с друзьями — его сверстниками из соседних семей, украинцем Анатолием и русским Николаем, и с шестнадцатилетней еврейкой Майей, жившей в другой коммунальной квартире их дома,— приходят к консульству посмотреть на красный нацистский флаг со свастикой.

— Хорошо смотрятся,— говорит Люсу его друг Коля, показывая на нацистский флаг и развивающийся в нескольких десятках метров от него красный советский флаг с серпом и молотом над входом в Харьковский областной комитет Коммунистической партии большевиков Украины.

Когда Люс и Коля возвращаются в свою коммунальную квартиру, их матери устраивают им взбучку: оказывается, что, пока их не было, в соседнем магазине «выбросили» сливочное масло, которое «давали» по сто граммов «в одни руки», и их руки очень бы пригодились.

* * *

Сцена 12. **1940 год, лето. Харьков.**

Проводы Вениамина — старшего (сводного) брата Люса, едущего поступать в военно-морское училище в Ленинград. Торжественный обед всех жильцов «коммунальной» квартиры в просторной кухне. Рахиль утирает слезы.

— Что ты плачешь? — говорит Яков.— Он же будет стоять на страже нашей родины. В мире нет более почетного дела, а войны ведь нет и в ближайшее время не будет.

Рахиль молчит. «Конечно, он же не твой!» — читается в ее взгляде.

Сцена 13. **Начало войны. Харьков.**

Солнечный выходной день 22 июня 1941 года. Лица мальчишек — Люса и его друзей, вышедших из кинотеатра и узнавших эту новость. Первые дни и недели войны. Стремительные изменения быта, перебои в снабжении. Закупка соли и спичек.

Тяжело заболевает Яков и попадает в больницу. Проходит полтора летних месяца. Бомбежки. Начинается интенсивная эвакуация. Завод отца Люса выехал на восток, когда тот еще был в больнице.

К Рахили приходили «кадровики» с завода, на котором работал Яков. Узнав о его болезни, один из них с подозрением сказал:

— Так, значит, вы просто не хотите уезжать. Решили дождаться врагов?

Рахиль не нашла слов, чтобы ему ответить.

* * *

Исторический фон: документальные кадры начала войны.

* * *

Сцена 14. **1941 год, август. Москва. Кабинет Сталина в Кремле.**

Сидят несколько человек в полувоенной форме. Сталин с трубкой прохаживается по кабинету. Говорит о том, что сопротивление на временно оккупированной немцами территории Союза должно быть организованным.

— Не допускать никакой стихийности!

Сталин замолчал, ждет вопросов. Один из присутствующих несмело приподнимается:

— Товарищ Сталин! Как быть с еврейским населением, не сумевшим эвакуироваться? Из Львова, Житомира и других городов, захваченных врагом, наша агентура сообщает о жестоких расправах немцев и местных националистов над евреями. Но это же наши советские люди. Кое-где партизаны могли бы им помочь...

— Если среди этих евреев есть мужчины, пусть идут в ваши отряды и воюют как всэ совэтские люди. А остальные... Запомнитэ: мы воюем нэ для спасэния евреев, и пусть они нэ надэются, что кто-то за них будэт проливать свою кровь! Чэм они лучше других? Это все. Остальное вам разъяснит товариш Судоплатов.

* * *

Сцена 15. **1941 год, начало сентября. Москва.**

Один из сидевших в кабинете Сталина проводит совещание с агентами спецслужб. Слышится конец его речи:

— ...никакой жалости к тем, кто остался на оккупированной территории. Забудьте о том, что это наши люди. Кончится война, мы еще будем разбираться с каждым, кто и почему остался. И еще: немцы расстреливают евреев. Не вздумайте спасать их, ставя под угрозу ваши задания. Помните, что даже самое малое наше поручение важнее жизни тысяч каких-нибудь никому не нужных евреев. Мы не нанимались их защищать и обслуживать!

Ваша группа направляется в Харьков и Харьковскую область. Стратегические и тактические интересы войны требуют выравнивания линии Юго-Западного фронта по Северскому Донцу. Сосредоточение наших войск на восточном берегу реки уже начинается и к середине октября будет закончено. Харьков и большая часть его области, таким образом, окажутся во временной оккупации. У вас есть более месяца, чтобы вписаться в жизнь города и его окрестностей и вместе с местными товарищами создать надежную агентурно-диверсионную сеть, которая облегчит нашей армии начало контрнаступления на этом важнейшем участке фронта.

Уже послезавтра вы станете в Харькове управдомами, дворниками, продавцами в магазинах, официантами в столовых, что поможет вам смешаться с населением и не вызовет вопросов, почему вы не покидаете город. Дальше — действуйте по обстановке. Связь вас найдет.

И еще раз напоминаю: никакой жалости, и победа будет за нами!

* * *

Сцена 16. **1941 год, сентябрь. Харьков.**

Очереди за хлебом и другими продуктами. Ежедневно отбывают эшелоны в эвакуацию. В коммунальной квартире Люса появляется невзрачный человек с незапоминающимся лицом. Впрочем, зритель уже видел его на совещании в Москве. Здесь же он представляется новым «управдомом». Расспрашивает Люса и его мать, где остальные «прописанные» в комнате жильцы — отец, брат Люса. Получает ответы. У соседей — Михайловых этот же «управдом» проверяет полученные сведения. Говорит им:

— Вы же знаете евреев! Все время что-то комбинируют...

Михайловы выслушивают эти слова с изумлением: они впервые за многие годы слышат такие речи от «официального» советского администратора.

— Что вы такое говорите? — возмутилась мать Коли.— Ее муж — советский рабочий, а сын в Красной Армии в отличие от вас.

— Ладно, ладно. Разберемся,— не дослушав ее, говорит «управдом» и выходит.

Сцена 17. **1941 год, конец сентября. Харьков.**

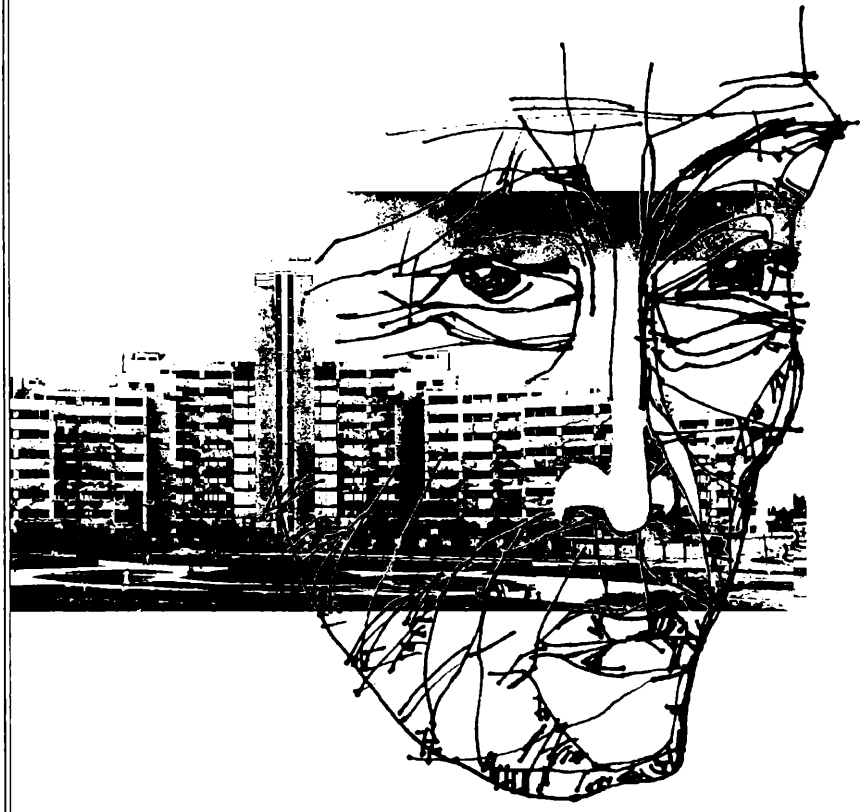
Возвращается из больницы отец Люса Яков. Еще два месяца назад больница была переоборудована под военный госпиталь, а теперь началась его эвакуация вместе с ранеными. Врачей и молодых сестер одели в военную форму. Остатки продуктов и белье санитарки разобрали по домам.

Сцена 18. **1941 год, начало октября. Харьков**

Рахиль пробивается в эвакуационную комиссию, которую осаждают десятки людей. Наконец она попадает к какому-то «красному» чиновнику. Показывает документы Якова.

— Мой муж не смог выехать со своим заводом из-за болезни. Теперь мы могли бы... — говорит она.

— Да что вы? — отвечает чиновник.— Завод этот уже давно на севере Казахстана. Но вы не бойтесь. Дела на фронте идут уже значительно лучше,



и немцам, если они даже займут Харьков, больше месяца здесь не продержаться. Что может случиться за месяц?! А там и ваш муж окрепнет, и завод вернется... Извините!

Он встает, давая понять, что разговор окончен.

Сцена 19. **1941 год, 20—23 октября. Харьков.**

Власти в городе уже не чувствуется, полыхают пожары и слышны взрывы: это уничтожают заводы, фабрики, здания, мосты — «чтобы не достались врагу!» Горит подожженный советскими спецслужбами знаменитый Дом проектов — первый украинский «небоскреб». Пытались взорвать второе «высотное» по тем временам здание — Госпром, но не получилось. Материал оказался крепче взрывчатки. Только стекла повылетали. Население растаскивает продукты из брошенных и чудом уцелевших складов продовольственных предприятий. Люс с приятелями побывали на кондитерской фабрике Жоржа Бормана и принесли мешок шоколадных бобов. Потом помчались на бисквитную фабрику, где им достался ящик с печеньем и несколько банок с топленым маслом.

* * *

Сцена 20. **1941 год, 24 октября. Харьков.**

Утром в город вступают немцы. Люс и его друзья наблюдают за немецкими солдатами из безопасного места. Редкие выстрелы. Сопротивления нет.

Дома Люса и Колю расспрашивают соседи, собравшиеся на коммунальной кухне.

— А кто-нибудь выходил к ним навстречу? — спрашивает мать Коли.

— Никто,— отвечает Люс.

— А я слышала, что на Холодной горе и на Ивановке их встречали хлебом-солью,— говорит одна из соседок, тоже побывавшая на улице.

— Врут, наверное,— сомневается мать Коли.

— Что делается, что делается! — восклицает Рахиль.

* * *

Сцена 21. **1941 год, конец октября. Харьков.**

Через несколько дней после прихода немцев вдруг прогремел сильный взрыв радиоуправляемого фугаса в особняке на Мироносицкой улице, где расположился один из немецких штабов. Немцы сразу же

схватили более тысячи заложников. Разместили их в бывшей гостинице в центре города. Потом всех расстреляли, так как «виновников» не нашли. После этого в городе некоторое время было относительно спокойно.

* * *

Сцена 22. **1941 год, 30 октября. Харьков.**

Люс с матерью возвращаются с базара, где пытались продать какое-то барахло. Их останавливает немец-офицер. На ломаном русском языке спрашивает, как ему пройти на улицу Гоголя. Мать Люса отвечает ему по-немецки. Немец удивлен, услышав родную речь. Потом спрашивает по-немецки:

— Вы, наверное, еврейка?

— Да!

— Я вам советую срочно со всей семьей покинуть город. Уезжайте в какое-нибудь глухое село. Здесь евреям скоро будет очень плохо. С кем вы живете?

— У меня муж и сын,— отвечает Рахиль.

— Это ваш сын?

— Да.

— Он совсем не похож на еврея. Настоящий арийский мальчик, как сказали бы наши новые умники.

— Он похож на моего мужа, но муж мой тоже еврей,— говорит Рахиль.

— Еще раз говорю вам: выбирайтесь из города. Чем дальше от него будете, тем больше у вас будет шансов пережить этот кошмар. Здесь вас ждет...— и он пальцем показывает, как нажимают курок.

Отойдя от них шагов на десять—двадцать, немец оборачивается и снова «нажимает курок», выставив указательный палец в их сторону. Лицо у него при этом серьезное и даже печальное.

— Как мы можем ехать или уходить, когда отец еще еле ходит по комнате? — говорит Люсу мать, рассказав перед этим о странном совете немца.— Но сердце мое чует, что этот немец прав...

* * *

Сцена 23. **1941 год, 15 ноября. Харьков.**

Прошел почти месяц оккупации. Голодно. Мать Люса и матери его друзей отправились по селам «на менку».

Старый крестьянин в одном дальнем селе зазвал Рахиль в хату, увидев, как она замерзла. В хате тепло. Тускло поблескивают по углам иконы, отражая свет лампадки.

Старушка поставила на стол чайник и чашки.

— Мы тут сами залышилися,— говорит дед.— Сыны наши воюють, а мы доживаемо...

— В городе хуже. Я вот хожу и боюсь за сына и мужа, они там... — сказала Рахиль, и на ее глазах появились слезы.

— То прийиздить до нас, разом веселише буде,— утешает ее дед.

— Мы евреи,— почти шепчет Рахиль.

— Що ж з того, що евреи,— говорит дед,— як казав наш батько Тарас, уси на цим свити — и царата, и старчата — Адамови дити. Прийиздить та й усе, хата наша прийме.

Рахиль переночевала в этой хате. Заснула она не сразу, и в полусне перед ней предстал встреченный ею недавно немец. Он говорил ей: «Шнель, шнель!» — и показывал пальцем, как нажимают курок. Даже во сне ее не покидало предчувствие беды.

* * *

Сцена 24. **1941 год, 17 ноября. Харьков.**

Рахиль вернулась. Дома все было относительно благополучно. В ее отсутствие Яков начал выходить на улицу и еле уберегся от очередной облавы на заложников после очередного радиоуправляемого взрыва, на сей раз Дома офицеров — большого здания возле старого университетского корпуса. В бывшем Доме офицеров размещалась немецкая военная администрация.

Тем временем город был разделен на районы по номерам. Появились объявления о деятельности районных управ. Стала выходить нацистская газета на украинском языке. Открылась четырехклассная школа. Никаких особых распоряжений в отношении евреев пока не было.

Только в день возвращения матери Люса и ее соседок из сел с продуктами, выменянными на разное барахло и детские игрушки, в коммунальную квартиру пришли проводить «перепись населения», объявленную управами еще за неделю до этого. Перепись проводили представитель управы, полицай и тот самый уже

знакомый нам «управдом». Переписывали всех подряд в заранее заготовленные формы.

Дошла очередь и до семьи Люса.

— А для вас, жидков, у нас есть особые бумажки,— говорит «управдом», доставая такие же формы, но на желтой бумаге.

Переписчики ушли, и в жизни вроде бы ничего не изменилось.

* * *

Сцена 25. **1941 год, 14 декабря. Харьков.**

Вдруг появляются объявления, приказывающие евреям 15 декабря собраться в указанных в них местах города. В коммунальной квартире Люса все соседи собрались в кухне и шумно обсуждают, идти или не идти семье Люса к указанному для этой улицы месту сбора евреев — к большой синагоге. Соседи советуют не идти, выждать, посмотреть, что будет дальше, но мать и отец Люса решают, что они пойдут, «чтобы не было хуже и нам, и им» (соседям).

* * *

Сцена 26. **1941 год, 14 декабря. Харьков.**

В задней комнате за кабинетом начальника одной из районных управ идет тайное совещание. Высвечивается несколько лиц — агентов советских спецслужб, проходивших инструктаж в Москве в начале сентября. Среди них и «управдом», опекающий дом, где живет Люс. Инструктаж ведет советский резидент, пробравшийся в бургомистры района.

— Предстоит «акция» в отношении евреев,— говорит он.— Спасти их мы не сможем, даже если бы очень хотели. Люди эти обречены, а у нас другие задания, и, чтобы мы их могли успешно выполнить, нам в связи с этой акцией представляется шанс завоевать доверие немцев, если мы будем активны. Выявляйте для этой акции всех известных вам евреев. Малейшая ваша слабость, жалость вас выдаст, и тот, кто их допустит, сорвет не только свое задание, но и поставит под удар жизнь и работу других. Помните, что в гестапо выбивать секреты умеют не хуже, чем у нас в НКВД. Вопросов нет? Всем за дело.

* * *

Сцена 27. **1941 год, 15 декабря. Харьков.**

Снова коммунальная квартира Люса. Утро. Громкий стук в общую входную дверь. Врывается «управдом», недавно получавший инструкции советского резидента. Поднимает крик:

— Эти жиды, оказывается, еще здесь! Что, распоряжения властей к вам не относятся? А ну быстро к своей синагоге!

Люс и его семья обнимаются с соседями. Женский плач. Слезы. Взяв небольшие заранее приготовленные узлы и старый чемодан, выходят на улицу. Соседки провожают отца и мать Люса, а он сам идет рядом с друзьями — Анатолием и Николаем. Не спеша бредут по переулку. Выходят на Пушкинскую улицу. Там у синагоги — и во дворе молельни, и вокруг на улице — толпа людей, тесно прижавшихся друг к другу. Соседи Люса и его друзья остаются сзади.

Лютый мороз. Над толпой поднимается пар от дыхания тысяч людей. Многие качаются и пытаются подпрыгнуть, чтобы согреться. Объектив оператора выхватывает лица и фигуры: старушка, из-за пазухи которой выглядывает мордочка маленькой собачонки, девочка с закутанной в одеяло клеткой приоткрывает полог, разговаривая с канарейкой, и другие картины.

* * *

Сцена 28. **1941 год, 15 декабря. Харьков.**

Бесконечная человеческая толпа движется по проезжей части заснеженной улицы. Толпу подгоняют дюжие полицаи славянского облика. Среди них и уже знакомый нам «управдом». Командуют ими несколько немцев. Полицаи бьют палками отстающих и тех, кого толпа выталкивает на тротуар. Некоторые тянут свои пожитки на санях, на которых горкой сложены чемоданы, узлы. Другие везут на санках детей, стариков. Почти все идущие — женщины, молодые и старые, дети, старики. Мужчин почти не видно. Камера останавливается на лицах Люса, его матери, поддерживающей шатающегося от слабости отца. Они идут почти налегке: мать несет небольшой узел, а Люс — чемодан и еще один узелок. В одном месте улица сужается и проходит между двумя нависшими над ней холмами. На холмах — подростки славянского облика. У них в руках длинные

жерди, похожие на удилища, к концам которых привязаны веревки с крючками. Подростки забрасывают свои «удочки» вниз в толпу, целясь в узлы и чемоданы, сложенные на санях, цепляют их и поднимают к себе. Конвоиры не обращают внимания на эти забавы. Стариков, падающих без сил, оттаскивают за заборы и строения. Оттуда доносятся выстрелы, но смысл происходящего еще явно не доходит до большинства. Движение. Движение. Движение. Люди ежатся от холода и студеного ветра. Конвоиры время от времени прикладываются к флягам. Движение.

* * *

Сцена 29. **1941 год, 16 декабря. Харьков.**

Толпа людей согнана на площадку перед бараками, расположенными на самой окраине города. Дальше — покрытая снегом степь. Толпу окружают немецкие солдаты и полицаи из местных. Выступает немец с переводчиком:

— Ваше переселение в специальные поселки планируется в скором времени, как только будут готовы транспорт и условия для расселения. А пока вы все должны сдать драгоценности. Деньги, вырученные от их продажи, будут потрачены на ваше обустройство на новом месте.

Начинается сбор драгоценностей. Все сдающие записываются в ведомости. Немцы несут наружное охранение. Вся эта процедура как-то успокаивает евреев. Слышатся негромкие слова:

— Не могут же они убить столько людей!

Двое немцев заняты приемом золотых украшений. Внутренний порядок обеспечивают полицаи.

Отец Люса сталкивается с «управдомом», дает ему свой старинный серебряный перстень (Люс с самых малых лет помнил его на безымянном пальце отцовской левой руки) и просит его:

— Принеси мне мой чемоданчик с инструментами. Соседи покажут, где он стоит, а мне понадобится на новом месте, когда будем устраиваться...

— Конечно, понадобится! Конечно, принесу! — говорит «управдом», перемигиваясь с другими полицаями, смеясь и разглядывая темный камень перстня с вырезанным на нем непонятным знаком. Люс наблю-

дает эту сцену. «Агат»,— вдруг вспоминает он название камня.

* * *

Сцена 30. **1941 год, 20 декабря. Вечер.**

К одному из зданий в Харькове подъезжает автобус. Из него выгружается человек 15. В основном немцы. С ними три хорошо экипированных полицая. Это зондеркоманда 4а.

* * *

Сцена 31. **1941 год, 21 декабря. День.**

В здании немецкой комендатуры командир зондеркоманды ведет переговоры о сроках проведения «акции». Убийца жалуется на «усталость» своих «людей». У них было много «работы» по пути в Харьков.

Комендант сердится, но в конце концов обещает попытаться согласовать с самим фон Райхенау, лично курирующим харьковскую «акцию», возможность «рождественских каникул» для «уставшей» от убийств женщин, стариков и детей зондеркоманды.

* * *

Сцена 32. **1941 год, 24 декабря. Харьков.**

Большая комната в доме, где расположилась зондеркоманда. Собралась почти вся немецкая часть этого отряда убийц. Входит командир и сообщает радостную весть: команде дарован отпуск на три дня.

Быстро накрывается стол. Пир в разгаре. Набравшись шнапса, убийцы распевают сентиментальные рождественские песенки. Когда все захмелели, вспомнили о полицаях, разместившихся в другой комнате. Кто-то предложил передать им несколько бутылок водки, но командир, махнув рукой, говорит:

— Славянские свиньи обойдутся и без праздника. Споют уже тогда, когда мы будем кончать их самих!

* * *

Сцена 33. **1941 год, 25 декабря. Харьков. Вечер.**

Барак, переполненный стариками, женщинами и детьми. Все одеты в зимнюю одежду. Окна с выбитыми стеклами завешены одеялами. Из-под одеял

кое-где пурга намела снег. Стоны. Плач детей. В некоторых темных углах горят свечи.

Высвечиваются лица Люса, его отца, лежащего на каких-то досках, его матери. Продуктов ни у кого нет. Люс говорит, что он может «сбегать» в город и раздобыть еду. Мать сначала возражает, но потом соглашается.

— Иди осторожно. Они, наверное, сейчас по всему городу ловят евреев, не пришедших сюда,— напутствует его Рахиль.

— Ну какой он еврей? Кто его примет за еврея? — успокаивает ее Яков.

— Все равно — будь осторожен и на улице, и в доме. Сразу иди к Михайловым: они обязательно помогут.

* * *

Сцена 34. **1941 год, 26 декабря. Харьков. Утро.**

Люс проходит мимо немца-конвоира. Немец останавливает его. Люс раскрывает перед ним пустую сумку и пытается объяснить на идиш, что он идет за хлебом и обязательно вернется. Но немец не понял его и думает, что тот, наоборот, приносил хлеб в бараки и теперь возвращается. Немец толкает его прикладом в спину в сторону города и кричит по-немецки:

— Чтоб я тебя больше здесь не видел!

Люс убегает в город.

* * *

Сцена 35. **1941 год, 26 декабря. Харьков.**

Люс в своей коммунальной квартире. Их комната еще не заселена. Соседи обступили Люса, потом повели на кухню покормить.

Люс порывается сразу же вернуться к родителям, но соседи его уговаривают остаться переночевать, помыться и обещают утром собрать для него продукты. Люс укладывается спать у Михайловых, чтобы не попасть в одну из облав, которые устраиваются в городе в поисках спрятавшихся евреев.

И не зря, потому что перед самым комендантским часом в квартиру заглядывает «управдом». Он осматривает комнату Люса, брезгливо роется в вещах.

Закончив «обыск» и не найдя ничего стоящего, говорит наблюдающим за ним соседям:

— Ладно. Пусть разбираются в этом барахле те, кому здесь жить.

— А кто здесь будет жить? — спрашивает одна из соседок.

— Достойные люди. Достойные люди,— отвечает ей «управдом».

Люс слышит этот разговор и некоторое время через щель наблюдает из комнаты Михайловых за «управдомом». Он видит, как на его руке блеснул отцовский перстень. Чемоданчик с отцовскими инструментами стоит на месте. «Управдом», зная о каком «переселении» евреев идет речь, не собирается выполнять просьбу отца Люса.

* * *

Сцена 36. **1941 год, 27 декабря. Харьков.**

Утро в коммунальной квартире. Друзья, пытаясь разбудить Люса, замечают, что он бредит. Женщины обнаруживают у него сильный жар — тяжелая простуда от переохлаждения. Со страхом на лицах они решают его оставить.

* * *

Сцена 37. **1941 год, 27 декабря. Харьков.**

Зондеркоманда 4а прибывает к баракам еврейского лагеря смерти, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и контингентом, с которым им предстоит «работать». С удовлетворением отмечают, что почти все — женщины, дети, старики.

Собираются отправиться посмотреть место расстрелов.

Командир зондеркоманды штандартенфюрер СС Блобель приказывает «на всякий случай» отобрать немногочисленных взрослых мужчин. Людям объясняют, что они нужны, чтобы подготовить место будущего поселения. Там они будут ждать остальных. Этих «первых поселенцев» набирается человек двести. Их везут к месту казни и расстреливают над оврагом.

— Вот и поразмялись,— говорит Блобель.

* * *

Сцена 38. **1941 год, 30 декабря. Харьков.**

Люс наконец может подняться с постели. Он порывается немедленно идти к родителям, но со-

седи его не пускают. При малейшем шуме на лестнице за дверями его прячут в захламленной кладовке.

* * *

Сцена 39. **1942 год, 2 января. Харьков.**

Евреев из лагеря смерти начинают «переселять». На расстрел отправляют партиями по 300—500 человек несколько раз в день. Расстрелы часто прерываются налетами советской авиации, базирующейся за Донцом в нескольких десятках километров от места расстрела.

* * *

Сцена 40. **1942 год, 3 января. Штаб командования Юго-Западного фронта.**

Информация летчиков о массовых расстрелах под Харьковом «по команде» докладывается командующему фронтом маршалу Тимошенко. Докладывающий уходит. Присутствовавший на докладе член Военсовета фронта Н. Хрущев вопросительно смотрит на Тимошенко. Тот говорит беспечным тоном:

— Так... Ерунда. Жидков шлепают. Все в порядке.

* * *

Сцена 41. **1942 год, 8 января. Харьков. Утро.**

Люс наконец сумел убедить соседей, что он здоров, и те, собрав ему немного еды, его отпускают.

Уже когда он, одетый, стоит у выхода, соседи последний раз пытаются его удержать.

— Ты уже не найдешь их там, где оставил. Их увезли куда-то,— уговаривают его.

Но Люс лишь отрицательно качает головой.

Уже по ту сторону двери он слышит чьи-то слова:

— Их расстреляли где-то за Тракторным, но как ему это сказать?

Люс идет пустынным городом в морозное зимнее утро. Редкие прохожие. Иногда тускло светит солнце, временами срывается снег, метет поземка.

Люс решает подойти к баракам с другой стороны, чтобы не нарваться на того же охранника. Делает большой круг и выходит к оврагу. Пытаясь пройти этим оврагом, он вдруг осознает, что идет по присыпанным снегом мертвым телам.

В одно мгновение ему все становится ясно.

Ему вдруг кажется, что он слышит женский стон.

— Мама!

Но в ответ прозвучал немецкий окрик, и он видит вооруженного немца прямо над собой на краю оврага.

Немец принимает его за мародера, отбирает сумку и заглядывает в нее. Увидев еду, он кричит на Люса по-немецки:

— Домой, домой! Уходи! Стреляю.

Люс убегает прочь. Оглянувшись, он видит, что немцев уже трое. Они весело смеются, и один из них делает вид, что собирается выстрелить из автомата, но не стреляет.

* * *

Сцена 42. **1942 год, 8 января. Харьков.**

Квартира при штабе 6-й немецкой армии. Фельдмаршал фон Райхенау разбит параличом. Еле-еле говорит:

— Доложите фюреру! (В штабе шифруют донесение в Берлин.— *Л.Я.)* К сегодняшнему дню все евреи покинули Харьков.

Молодой штабист с удивлением перечитывает текст. Пожилой ему объясняет:

— Фюрер очень расстраивается, когда узнает о расстрелах и убийствах!

* * *

Сцена 43. **1942 год, 8 января. Москва.**

Главный штаб партизанского движения. Кабинет большого начальника. Ему докладывают:

— Донесение из Харькова. Вся наша сеть внедрена без потерь. Доверие немцев к нашей агентуре обеспечено ее активным участием в известной вам «акции».

— Что ж. Отлично. Есть о чем доложить вождю!

* * *

Сцена 44. **1942 год, 8 января. Харьков. Вторая половина дня.**

Люс прибегает в коммунальную квартиру. Он не плачет, но все время повторяет:

— Они всех убили!

Его успокаивают, кормят. На своем совете соседи решают оставить его в квартире. Время от времени его прячут в кладовке, поскольку, по слухам, облавы

на спрятавшихся евреев в городе не прекращаются. Так проходят два месяца.

* * *

Сцена 45. **1942 год, середина марта. Харьков.**

Слухи об облавах по-прежнему будоражат город.

У одной соседской семьи есть родственники в довольно глухой деревне в западной части Харьковской области, и соседи решают, что если и дальше держать Люса в кладовке, то он сойдет с ума. Кроме того, со дня на день в комнате Рахиль и Якова могли появиться новые жильцы — обещанные «управдомом» «достойные люди».

Люсу объясняют, как пробраться в деревню, где он будет в безопасности. Один из друзей Люса — Коля Михайлов — добывает в управе «справку о месте жительства» и передает ее Люсу. Теперь он становится «Николаем Михайловым».

Ранним утром следующего дня Люс прощается с соседями. Женщины плачут.

Люс выходит на улицу.

* * *

Сцена 46. **Тот же день.**

Люс идет по городу. Идет мимо синагоги, где три месяца назад собирали евреев. Заходит во двор у синагоги. Обращает внимание на ворох какой-то бумаги, сметенный в угол двора. Берет несколько скрутившихся в трубочку листков. Разворачивает. Это оказываются выброшенные фотографии. Он рассматривает немного расплывшиеся от сырости лица. С одной из них, хорошо сохранившейся, смотрит еврейская семья: мужчина в военной форме, красивая женщина и двое темноглазых детей. Люс вздрагивает: «Неужели этих детей уже нет на свете?!»

Люс, теперь Николай Михайлов, идет дальше, спускаясь к Подолу.

* * *

Сцена 47. **Тот же день.**

Пересекая Подол, Люс проходит мимо двухэтажного дома, где жил его дядя — двоюродный брат отца, о котором Люсу было известно, что он вместе со всей своей семьей эвакуировался вместе

с заводом. И вдруг Люс в пробегавшем мимо десятилетнем мальчишке узнает сына этого дяди — Петра, Петю. Он останавливает его и узнает, что эшелон, куда погрузились его отец и мать, очень долго стоял на внутригородской железнодорожной станции Левада, до которой от их дома было минут пятнадцать ходьбы. Петя отпросился сбегать домой за своим велосипедом, и, пока он ходил, поезд ушел. Это было дня за два до прихода немцев. Петя ушел к себе домой. Когда на Подоле появились немцы, в их квартире поселился немецкий ефрейтор по имени Карл. Он спрятал в этой квартире Петю и одну девочку-еврейку, когда евреев собирали в лагерь смерти. «Иначе капут!» — сказал он им, и те пересидели с месяц, как мыши, питаясь тем, что приносил Карл, который заведовал хозяйством в какой-то размещенной на Подоле части немецкого гарнизона. Девочке он до сих пор запрещает выходить на улицу, а Пете сказал: «Не такой уж ты еврей!» — и приспособил его возить из реки воду в бочке на телеге с лошадью. Петя с трудом уговорил Люса, боявшегося немцев, встретиться с Карлом:

— Он поможет!

* * *

Сцена 48. **Тот же день. Время обеда.**

В квартире Пети обедает Карл. Петя и Люс, немного знавшие идиш, с трудом объясняются с Карлом. Карл говорит, что Люса он не сможет ни спрятать, ни приспособить к какой-нибудь работе. Это вызовет подозрения, и будет плохо всем.

— Тебе нужно уходить в деревню! Там у кого-нибудь пристроишься.

* * *

Сцена 49. **Тот же день.**

Петя провожает Люса. Они по кладкам (временному деревянному пешеходному мосту) переходят речку. За рекой Петя вдруг говорит:

— Здесь на Нетеченской улице есть двухэтажный дом, где живут армяне. Они от турок бежали, когда те их резали. Давай зайдем. Они прячут двух мальчишек-евреев, я их знаю: одного теперь зовут Карен, другого Ашот, но они — евреи. Может, и для тебя что-нибудь придумают.

Заходят во двор дома, где встречают пожилую армянку. Петя здоровается и просит спрятать брата.

— Мы уже больше не можем, нас всех переписали,— выделяя слово «больше», говорит армянка и продолжает: — Если бы ты хоть на армянина был похож, сказали бы, что приехал, а ты — вылитый русский парень, и, увидев тебя здесь, они сразу поймут, что ты прячешься. Иди в село, там спокойней!

Уже у калитки она задерживает Люса:

— Дай руку. Я умею гадать

Она рассматривает ладонь Люса. Потом говорит:

— Ты спасешься и будешь жить долго.

* * *

Сцена 50. **Тот же день.**

Люс спешит к южным городским окраинам, стараясь уйти из города до комендантского часа. По пути он встречает Майю. Майя рассказывает, что ее родители, уходя в лагерь смерти, отправили ее «на всякий случай» к хорошей знакомой в частный домик на этой окраине. Она переждала там три месяца. Могла бы и остаться — тетя Аня и ее соседи хорошие, никогда никого не выдадут, но она узнала, что фронт совсем близко, за Донцом, и решила уйти «к нашим».

— Я же комсомолка! Мне уже семнадцать лет, и мое место — на фронте!

Стала уговаривать Люса идти вместе с ней.

* * *

Сцена 51. **1942 год, конец марта. Харьковская область.**

Люс и Майя пробираются поближе к фронту. Уже слышна канонада, но чем ближе к фронту, тем чаще попадаются немецкие патрули. Люс и Майя разговаривают с крестьянами. Узнают, что дальше к Донцу подойти невозможно. Там укрепленный район немцев, и если они даже подойдут где-нибудь к Донцу, то перейти его по весеннему льду, да еще под обстрелом с двух сторон, не сумеют. Крестьяне говорят, что наши скоро пойдут в наступление. Майя предлагает Люсу остаться здесь и ждать «наших». Одинокий старик пустил их переночевать в сарай, наполненный сеном. Там же находился теленок и было довольно тепло. Они спят

в обнимку. Ночью Люса охватывает желание. Он дает волю рукам, но Майя останавливает его:

— Я же старше тебя и скоро буду тебе казаться старухой! Да и не по-комсомольски это. Мы ведь товарищи.

Люс постепенно успокаивается, но руки его вдруг обретают нежность. Они забываются в беспокойном сне.

* * *

Сцена 52. **Утро следующего дня.**

Люс и Майя обходят крестьянские дворы, пытаясь договориться, что они пробудут здесь до прихода «наших». Все отказываются из страха перед немцами и полицаями, время от времени проверяющими село. Лишь одинокий старик, чей дом стоял чуть в стороне от села, говорит:

— Дивку визьму, а хлопця не можу, бо прийде полицай, усих постриляе. Мени то що — я старий, але усе селище загине...

Люс прощается с Майей и уходит на запад, чтобы отыскать тех, к кому его направили Михайловы.

* * *

Сцена 53. **1942 год, начало апреля. Харьковская область.**

Люс уже потерял счет дням, потраченным им на дорогу. Он бредет полями и перелесками, стараясь не выходить на проезжие дороги, чтобы не попасться немецким патрулям. В селах и на хуторах выпрашивает пищу. Дают очень немного. Все на грани голода. Нет скота и, кажется, вообще никакой живности — собак перестреляли немцы, а кошек, вероятно, съели.

Люс обессилел и, пренебрегая осторожностью, подходит к небольшому хутору неподалеку от села, которое он обошел стороной. К его удивлению, первая встреченная им на хуторе женщина оказалась еврейкой. Она провела его во флигель, где жила с двумя маленькими детьми. Накормила Люса. Рассказала, что она — жена директора школы в этом селе. Мужа мобилизовали в армию. Его в селе очень любили, и никто на них не донес, а когда здесь обосновалась небольшая немецкая часть, офицер взял ее кухаркой.

— Он добрый! Никогда ложку ко рту не поднесет, не спросив, накормила ли я своих детей!

Она повела Люса показать офицеру. Тот посмотрел, повертел в руках справку на Николая Михайлова и махнул рукой, показывая, что разговор закончен.

Люс прожил во флигеле несколько дней, пока однажды утром в комнату без стука вошли офицер, его денщик Генрих и какой-то полицай.

— Конечно, это жиды! — сказал полицай.— Нам сообщили правильно!

— Откуда мне знать, кто из вас тут еврей, а кто нет,— ворчливо сказал офицер полицаю.— Для меня и ты сам — еврей, но раз ты говоришь, что они евреи, значит Генрих их сейчас же расстреляет. Генрих, выполняй!

Из всех этих слов полицай понял, что Генрих сейчас расстреляет этих евреев. Он хотел сказать, что это обязан сделать он сам, но офицер вывел его, подталкивая в спину, со словами:

— Шнапс! Шнапс!

Генрих быстро всех выгнал на улицу и повел на опушку леса. Женщина несла ребенка на руках, а мальчик постарше бежал с ней рядом. За ними плелся Люс и шел Генрих с автоматом. Женщина была бледна как мел, но не плакала.

Офицер и полицай смотрели им вслед, а потом ушли в хату. Генрих привел их к стогу старого сена на опушке леса и заставил всех туда забраться.

— Сидеть, пока я не приду! — сказал он и дал несколько очередей из автомата в воздух.

Генрих пришел за ними, когда пьяного полицая увез в районный центр немецкий мотоциклист. Но Люса уже не было. Он немного раньше попрощался с женщиной и ушел в лес.

* * *

Сцена 54. **1942 год, вторая половина апреля.**

Люс приходит в городок Валки. Здесь его хватают полицаи и ведут к начальнику управы. Тот читает справку, слушает объяснение Люса — «Николая Михайлова», но решает его задержать, поскольку имеет указание гестапо задерживать всех бродяг и подозрительных. В начале мая очередной раз приедет с инспекцией гестаповец из Харькова и разберется.

Люса помещают в камеру при управе. Там уже находятся два арестованных парня. Их выводят

на разные погрузки и уборки. Режим их содержания — мягкий. Они общаются с жителями городка.

Гестаповская инспекция задерживается, а в 10-х числах мая они узнают от жителей о начале советского наступления. Ждут «наших».

Люс думает о Майе, что с ней, как она там.

* * *

Сцена 55. **1942 год, 14 мая. Советский Юго-Западный фронт.**

Через деревню, где осталась Майя, проходят отступающие немецкие части с тяжелой техникой. За ними по следам идет кавалерийская группа генерала Бобкина. Потом появляется советская пехота. В селе располагается штаб одной из частей 6-й советской армии. Майя приходит в штаб. Ее направляют в «особый отдел». Она рассказывает о себе. Начальник «особого отдела» допрашивает ее. Задает вопрос: «Как же так — всех евреев убили, это мы точно знаем, а тебя нет? Чем ты немцам так понравилась?» Она еще раз пересказывает свою историю, говорит, что она комсомолка, от немцев пряталась и ушла из города к «своим». Начальник выходит. Она слышит разговор из коридора. Кто-то говорит начальнику спецчасти: «Красивая жидовочка тебе попалась. Что будешь с ней делать?» Ответ: «Трахну и отправлю в часть санитаркой».— «А если не даст?» — «Тогда отправится в лагерь». Майя представляет себе, как его волосатые лапы шарят по ее телу. Начальник возвращается и говорит: «Сейчас пойдем ко мне в хату, там я проверю, врешь ли ты, что еще девушка, а если нет, значит спала с немцами, стала их шпионкой и пришла к нам по заданию». Майя кричит: «Никуда не пойду». Она почти в истерике. На крик заглядывает начальник штаба: «Что тут?» — «Да вот — немецкая шпионка!»— «Ну отправь ее под конвоем в тыл. Там разберутся, а мы здесь не можем возиться с каждой блядью». Начальник особого отдела пишет «сопроводиловку», говорит: «Вот ты и доигралась!» Вызывает конвой. За Донцом в штабе фронта никто с ней разбираться не стал, и сразу же отправляют под конвоем в тыл. Через месяц после заседания «военного трибунала», где на ее «дело» было затрачено десять минут, Майя оказывается в сибирском концлагере на лесоповале. Майя в телогрейке с тоской смотрит в объектив.

* * *

Сцена 56. **1942 год, конец мая.**

Люс и его сокамерники во время уборки во дворе управы узнают о «страшном разгроме» советских войск под Харьковом, о «миллионе» пленных и убитых и о том, что советские части уже покинули свои рубежи вдоль Донца и бегут на восток к Дону и Волге. Те, кто им рассказывает эти скорбные вести, не скрывают слез. Люс удручен: его надежде на скорое освобождение «нашими» не суждено сбыться.

На следующий день приезжает гестаповец из Харькова. Ему некогда заниматься бумагами арестованных, и он забирает всех содержавшихся при управе подростков с собой в Харьков.

* * *

Сцена 57. **1942 год, начало июня. Харьков. Холодногорская тюрьма.**

В ней около тысячи раненых советских военнопленных. Лежат и на нарах, и на полу, оставляя узкие проходы. Люс, который уже привык откликаться на имя «Николай», мотается с ребятами по этим проходам, вынося судна, подавая воду, разнося скудную еду. Люс безотказен, откликается на любую просьбу. Его все любят. Обращаются к нему «сынок», говорят о нем «наш сынок». Один тяжелораненый, расспросив Люса и узнав, что его родители погибли, говорит ему:

— У меня младший брат такой, как ты. Если выживем, поедем ко мне в село. Рязанский я. О Есенине слышал, наверное. Он наш, и места там красивые. Утром выйдешь к реке, дух захватывает! Ну а если я помру, а ты освободишься, поезжай туда после войны. Обо мне расскажи. Тебя там как родного примут.

Люс обещает.

Через месяц в тюрьме начинается сыпной тиф. Люс заболел одним из первых, но через несколько дней кризис прошел, а еще через неделю он встал на ноги. К тому времени немцам надоело возиться с ранеными, и они решили всех перестрелять, опасаясь эпидемии. Люс с обслуживающей командой перетаскивает трупы к машинам. Он слышит слова шоферов, говорящих по-русски.

— Далеко возить. Нашли же место черт знает где — за Тракторным. Здесь, на Залютино, тоже можно было найти овраг какой-нибудь,— ворчит один.

— Ты же знаешь, немец порядок любит. Они уже постреляли там евреев и тем самым утвердили то место как братскую могилу, где и нам с тобой, видно, придется лежать! — отвечает ему другой.

— Типун тебе на язык твой проклятый!

Люс понимает, что мертвые тела отвозят и сваливают в тот самый овраг, над которым были расстреляны его мать и отец.

В тюрьме производят санитарную обработку и ставят ее на карантин, а всех ребят из обслуживающей команды перевозят в маленькую пересыльную тюрьму возле Южного вокзала.

* * *

Сцена 58. **1942 год, август. Харьков. Пересыльная тюрьма.**

Люс в тесной камере, лежит на матрасе, брошенном на пол. Команда: «Встать!»

На пороге возникает надзиратель, а с ним два немца и переводчик. Немец говорит, а переводчик переводит:

— У вас всех появляется возможность близко познакомиться с великой немецкой культурой. Вас приглашают на работу в Германию, где каждый получит полезную специальность. Ну а кто не хочет ехать, будет передан в гестапо для выяснения личности.

Начинается запись «желающих выехать на работу в Германию». Среди записавшихся и «Николай Михайлов», он же Люс. Люс как-то быстро повзрослел, и переводчик, записывая его в ведомость отъезжающих, не спрашивая, поставил в графе возраст — «20 лет». В конце объявление: «Домой съездить нельзя. Остаетесь здесь до выезда, а то разбредетесь, и ищи тогда ветра в поле».

* * *

Сцена 59. **1942 год, 10 августа.**

Эшелон с будущими остарбайтерами уходит из Харькова. В окошке одной из теплушек лицо Люса. Он смотрит, как на его глазах исчезают вдали городские окраины. Поезд идет по лесостепи, потом углубляется в лес.

* * *

Сцена 60. **1942 год, 14 августа.**

Пересыльный лагерь на бывшей польской границе СССР. По огороженной и охраняемой воен-

ными надзирателями территории с несколькими бараками бродят молодые парни и девушки. В конторе идет быстрый медосмотр, который проводит хорошо говорящий по-русски врач из прибалтийских немцев. Осмотр производится сплошным потоком. Врач задерживает Люса, и они остаются в комнате одни. Люс голый и, как и все, закрывает пах руками. Врач отводит его руки и, указывая пальцем в пах Люсу, говорит:

— Не притворяйся мусульманином. Тебе приведут и татарина, и узбека, и все выяснится. На всех будущих медицинских осмотрах говори, что у тебя была сросшаяся кожа, закрывавшая головку, и тебе сделали операцию. Запомнил? Ну, даст Бог — выживешь!

Врач отпускает Люса.

* * *

Сцена 61. **1942 год, 16 августа.**

Поезд, составленный из полуразбитых пассажирских вагонов, идет по Германии. В окне одного из этих вагонов — лицо Люса.

* * *

Сцена 62. **1942 год, 18 августа. Германия.**

Еще один распределительный лагерь — под Берлином. Сначала наиболее крепких парней отбирают эсэсовцы, а потом уже остальных делят между собой промышленники и фермеры. Люс оказывается в «эсэсовской» группе.

* * *

Сцена 63. **1942 год, середина декабря. Бавария.**

Люс и еще двое парней из его эшелона на вспомогательных работах под командой эсэсовца в лагере военнопленных англичан и французов. Люс уже хорошо говорит по-немецки. Он сумел уловить немецкие корни в идиш и отделить их от других языковых включений. Немцы, не знающие, кто он и откуда, находят у него лотарингский акцент. Англичане и французы, знающие немецкий язык, считают его немцем, но симпатизируют ему, очарованные его доброжелательностью. Он часто работает в лагерном лазарете. Учитывая знание им немецкого языка, его иногда используют для обслуживания эсэсовских пирушек по разным поводам и без повода. Это дает Люсу возможность хоть временами досыта

наедаться. Он — светловолосый и светлоглазый (серо-голубой цвет глаз), с прямым коротким носом и вполне отвечает «арийскому идеалу».

* * *

Сцена 64. **1942 год, конец декабря. Бавария.**

Эсэсовцы, управляющие лагерем военнопленных, празднуют Рождество Христово. У них в гостях офицер-чиновник из Главного административно-хозяйственного управления войск СС, некий Альфред. О нем говорят как о «правой руке» начальника этого управления Освальда Поля. Среди обслуживающих пирушку — Люс. Альфред, которого, встреться он в Харькове, Люс принял бы за еврея, посматривает на Люса. Люс ловит эти взгляды и чувствует себя под ними неуютно.

Он слышит разговор.

— Кто этот парень? — спрашивает Альфред и с удивлением узнает, что это остарбайтер.

— Он же настоящий ариец! И какой у него немецкий! Я заберу его от вас...— говорит Альфред.

* * *

Сцена 65. **1943 год, февраль. Бавария.**

В лагерь западных военнопленных прибывает предписание передать «Николая Михайлоф» в распоряжение Главного административно-хозяйственного управления войск СС. Люс в сопровождении эсэсовца уезжает в Берлин.

* * *

Сцена 66. **1943 год, февраль. Берлин.**

Люс едет по Берлину. Следы бомбардировок. Разрушенные, но аккуратно огороженные здания. В Главном управлении его передают Альфреду. Тот определяет Люса в свою команду в качестве грузчика и «прислуги за все». Эта команда под руководством Альфреда свозит в Берлин ценности — драгоценные металлы, золотые украшения, зубные коронки, отбираемые при различных акциях и в концлагерях. Иногда его вызывают в спортзал, где его и других молодых эсэсовцев специальные инструктора обучают обороне и нападению с оружием и без оружия. Люсу не нравятся эти занятия, но уклониться он не может.

* * *

Сцена 67. **1943 год. Лето и осень.**

Германия и оккупированные немцами территории. Перед глазами Люса, занятого рутинной работой, проходят различные концентрационные лагеря. Озверевшие эсэсовцы из лагерной охраны при Люсе расстреливают «непокорных и подозрительных», стреляют по людям просто для развлечения.

* * *

Сцена 68. **1944 год, февраль. Аушвиц.**

Люс читает надпись над воротами: «Arbeit Macht Frei». Лагерное начальство «дает прием» в честь Альфреда и прибывших с ним эсэсовцев. Люс — среди обслуживающих это застолье. Среди пирующих — наводящая ужас на заключенных красавица Ирма Грезе, «ангел смерти». Вводят нескольких «прилично одетых» девушек-евреек. Эсэсовцы набрасываются на них. Срывают одежды. Насилуют. Передают друг другу: «Попробуй эту!» Насытившись, оставляют их в покое. Девушки пытаются как-то поправить разорванную одежду. Некоторые тихо плачут. Ирма выгоняет их из зала и потом выводит из конторы. Слышны выстрелы и крики. Альфред тихо говорит Люсу:

— Ирма положила на тебя глаз. Не вздумай сопротивляться, если что...

Люс на кухне. Его посылают в полутемную кладовку за продуктами. Вдруг появляется Ирма. Молча толкает его на мешки, расстегивает ему брюки. Расстегивает свою гимнастерку, рвет лифчик и обнаженной грудью прижимается к нему ниже пояса. Потом погружает свое прекрасное лицо в его пах.

Люс получает оплеуху за то, что «задержался» в кладовке.

По окончании застолья, после которого Альфред один сохранил остатки трезвости, он, улыбаясь, говорит ему:

— Ну, что, отсосала как следует? Можешь гордиться: за нее тут насмерть дерутся два вонючих козла — Крамер и Менгеле. К тому же пикантно получилось: гроза евреев — «светловолосый дьявол» — сосет обрезанный!

Смеется, а Люс застыл в страхе от того, что Альфред знает его тайну. Альфред делает вид, что не замечает испуга Люса, и продолжает:

— Зато теперь ты знаешь, что такое настоящая немецкая женщина! — и, похлопав Люса по заду, смеясь, уходит.

* * *

Сцена 69. **Начало 1945 года. Германия. Земля Гессен.**

Команда Альфреда на западе быстро сжимающегося «тысячелетнего рейха» попадает в американскую засаду. Альфред куда-то исчезает — его нет ни среди пленных, ни среди мертвых. Пленных ведут в лагерь. Там Люса отделяют от эсэсовцев и перевозят в лагерь «перемещенных лиц» в Нидерландах.

* * *

Сцена 70. **1945 год, июнь. Нидерланды.**

В лагере «перемещенных лиц» идет опрос: «Кто хочет вернуться в Россию?» Набирается немного, и среди них Люс.

— Вы хорошо подумали? — спрашивают его.

В памяти Люса возникает видение: морозный солнечный день, искрящийся снег и присыпанный им овраг. Он видит себя, стоящим на краю этого оврага, откуда до него доносится слабый голос матери: «Лю-юс...» Дробицкий Яр.

— Да, я решил вернуться,— отвечает он американскому военному чиновнику.

* * *

Сцена 71. **1945 год, июнь. Германия. Советская зона оккупации.**

Люс в советском фильтрационном лагере. Идут допросы остарбайтеров и освобожденных пленных. Очередь доходит до Люса.

Люс сохранил справку, выданную Николаю Михайлову, предъявляет ее и рассказывает свою историю, опуская такие детали, как служба в эсэсовской команде Альфреда. Об этом периоде своей жизни он говорит, как о всяких вспомогательных работах в концентрационных лагерях. Бесстрастное лицо выслушивающего его рассказ офицера, который время от времени делает пометки в своих бумагах.

Офицер требует, чтобы Люс подробно записал всю свою историю, усаживая его за стол внутри

комнаты, на котором кроме чернильницы, ручки и стопки бумаги ничего нет.

Люс пишет. Видно, что руки плохо его слушаются, и слова он подбирает с трудом, но его не торопят.

Наконец он заканчивает свою исповедь.

— Проверим! — говорит офицер, забирая справку и объяснения.

Люс уходит.

— Из санчасти поступили сведения, что он обрезан. Как он мог выжить? Или нечист он все-таки? — говорит он своему коллеге.

— Как сказать. Все может быть. Помнишь красавчика Витю, мы им занимались. Может, и твой Илья тоже проходил весь свой плен в любовниках у какого-нибудь влиятельного эсэсовского чина. Что же, казнить его за это теперь? — сказал второй офицер и взял в руки «объяснение» Люса.

Просматривает бумаги и вдруг говорит:

— Постой! Его фамилия «Флинкер», и вот он пишет о брате Вениамине. Я знал Веню Флинкера! Мы в училище вместе были. Потом он, можно сказать, на моих глазах погиб под Нарвой, когда нас уцелело всего несколько человек. Похоже, правду пишет твой подопечный.

* * *

Сцена 72. **1945 год, конец августа. Тот же фильтрационный лагерь.**

Люса вызывают в контору лагеря. Он приходит к тому же офицеру, который его допрашивал.

— Твой рассказ в основном подтвердился. Должен тебе сообщить, что брат твой погиб смертью храбрых,— говорит ему этот следователь и продолжает:

— Конечно, есть за тобой кое-что,— многозначительно говорит он, просверливая Люса взглядом,— но мы попробуем простить тебя, а ты постарайся пятна своей биографии, если уж не успел смыть кровью, смыть хотя бы потом! В общем, возраст у тебя как раз призывной. Людей здесь нам не хватает. Иди-ка послужи в армии и благодари нас за доброту. Года два-три назад ты бы так легко не отделался.

* * *

Сцена 73. **1945—1947 годы. Советская зона оккупации Германии.**

Солдат Люс, снова ставший Ильей Флинкером, в советской военной форме в одной из воинских частей на окраине Дрездена. В этой части он встречает своего довоенного друга Толю. Тот рассказывает, что тоже был вывезен на работы в Германию, работал у фермера. Оба ведут счет месяцам и дням, остающимся до возвращения домой, отмечая их на самодельном календаре.

* * *

Сцена 74. **1947 год, сентябрь. Харьков.**

Люс и Толя вернулись в Харьков, идут по городу от еще не восстановленного полностью вокзала. Оба в военной форме, но без погон.

Приходят в свою старую коммунальную квартиру к Михайловым. Родители Толи уже живут по новому адресу, и их комната, как и комната Люса, занята новыми жильцами. Причем, как рассказали Михайловы, в комнату Люса новые жильцы въехали еще при немцах. Открывается дверь, и на пороге появляется здоровенный мужик.

— Чего тебе? — спрашивает он Люса.

— Я здесь жил,— отвечает Люс.— Не знаете ли вы, куда делись вещи, которые здесь были?

— Так ты уцелел, жидовская морда! — кричит мужик.— Вот, немцы-паскуды, ничего до конца сделать не могут, даже жидовских щенков перестрелять и то не сумели! На помойках ищи свои пархатые шмотки!

В раскрытую дверь комнаты виден старинный сервант, когда-то отремонтированный отцом Люса. Толя не выдерживает этой сцены, хватает мужика за волосы, вытаскивает в коридор и жестоко избивает его, пока тот не падает без сознания. Толя выливает на него полбутылки водки. Визжит женщина, выглядывая из комнаты Люса. Люс и Толя уходят к Михайловым. Спокойно обедают. Вдруг раскрывается дверь, и появляется милиционер, а из-за его спины выглядывает женщина — жилица из бывшей комнаты Люса.

— Где здесь хулиганы? — спрашивает милиционер и проверяет увольнительные документы у Люса и Толи. Отдает честь и говорит, оборачиваясь к женщине: — Это ребята из армии. Никаких хулиганов здесь нет.

На выходе из квартиры Толя говорит Люсу:

— Подожди,— и открывает без стука дверь бывшей его комнаты: — Мы теперь будем бывать здесь частенько. Так что учтите!

* * *

Сцена 75. **1947 год, декабрь. Харьков**

В солнечный морозный день Люс вышел на проспект Сталина и медленно пошел к Тракторному заводу. Мимо него в обе стороны, звеня, проносились трамваи, но ему хотелось побыть одному и одному пройти путь, по которому шесть лет назад он шел с матерью и отцом в объятой страхом толпе. Сейчас он двигался как во сне, и так же, в забытьи, он вышел к Дробицкому Яру. Овраг был наполовину заполнен снегом, и Люс остался стоять на склоне. И опять он услышал тихий шелест, узнав в нем голос матери: «Люс...» Потом Люсу показалось, что над оврагом зазвучал нестройный хор: тысячи голосов, звавших дорогих людей. Имена, имена, имена... Люс вспомнил светловолосого рязанца из Холодногорской тюрьмы, так и не успевшего дать ему адрес своих родных. И он тоже где-то здесь нашел свою последнюю пристань.

Сцена 76. **1952 год. Харьков.**

Люс работает в пекарне. У него небольшая комната недалеко от вокзала. Из родственников в Харькове остался только двоюродный брат отца. От него Люс узнает, что Петя в тюрьме — очередной раз попался на воровстве. Люс часто ходит пешком через центр города, вспоминая своих близких. Ему все кажется, что где-то здесь можно найти концы нити его жизни, разорванной войной, связать их и тогда уйдут тоска и печаль, и он снова будет счастлив, как тогда, утром 22 июня 1941 года, когда он еще не знал, что началась война.

* * *

Сцена 77. **1952 год, конец июля. Харьков.**

Во время одной из своих прогулок Люс встречает молодую еврейку и узнает в ней медсестру Анечку из военного госпиталя в советской зоне оккупации Германии, куда он несколько раз приходил на осмотры и за справкой о здоровье. Она тоже узнает его. Они часто встречаются, рассказывают друг другу о жизни и планах.

Когда она демобилизовалась после двух лет фронта, ее восстановили в медицинском институте, и теперь она уже врач и работает в детской поликлинике, обслуживающей район, где живет Люс. Она ему понравилась с первого взгляда еще в армии, и теперь он рад их встрече. Его немного угнетает разница в их положении: он — пекарь, рабочий, а она — человек с высшим образованием. Но он с радостью замечает, что для нее это не имеет значения. Они начинают строить планы уже вместе и в конце концов решают, что поженятся ровно через год, когда ей дадут обещанную комнату, чтобы они потом могли выменять себе более приличное жилье.

Сцена 78. **1952 год. Харьков.**

Однажды он сидел в пивной на одной из центральных улиц, погруженный в тихие воспоминания, и вдруг, очнувшись, заметил, что пивную кружку, стоявшую по соседству с его бокалом, берет рука, на одном из пальцев которой тускло блеснул перстень его отца. Подняв глаза, он увидел рядом с собой солидного и весьма благообразного человека, чем-то ему знакомого. С удивлением он узнает в нем «управдома», отправившего на смерть его родителей и всех прочих евреев, живших на подведомственной ему улице. Тот его тоже узнает своим опытным «оперативным» взглядом.

— Жив жидок! Не бойся. Теперь я тебя не расстреляю. Пока! — тихо говорит он Люсу.

Люс, расстроенный, уходит, не допив пиво. Пройдя немного по улице, он возвращается и прячется в подворотне, откуда можно было видеть выход из пивной. Выходит «управдом». Он хорошо одет. На пиджаке два ряда орденских планок. Он беззаботно и как-то по-хозяйски идет по улицам. За ним в отдалении следует Люс. Доходит до дома, в парадном которого тот скрылся. Тихо поднимается по лестнице. Успевает заметить этаж, откуда был слышен стук закрывающейся двери. На этом этаже две двери. На них почтовые ящики, на одном из которых — мужская фамилия, на другом — женская. Люс повторяет мужскую фамилию, чтобы запомнить.

* * *

Сцена 79. **1952 год, октябрь. Харьков.**

Люс получает повестку — явиться в местное управление МГБ.

В большой комнате два стола, за каждым из них сидит «сотрудник». К одному из них приглашают Люса.

— Вы обратились с заявлением о предателе, будто бы помогавшем немцам убивать советских людей. Должен вам сказать, что вы ошиблись. Товарищ Васильев — заслуженный человек. Он выполнял важное задание и не имел права рисковать, помогая тем, кого немцы все равно бы убили,— мягко и проникновенно говорит «сотрудник», а потом, перевернув несколько листков в лежащем перед ним досье, добавил: — Вы ведь были в Советской Армии и должны понять, что задание командования должно быть выполнено любой ценой. Так ведь?

— Так,— не очень уверенно отвечает Люс.

— Ну, давайте я вам отмечу пропуск. Всего вам доброго.

Люс уходит молча.

Принимавший его «сотрудник» говорит другому:

— Ишь, ершится жидок. Делает вид, что не понимает, что любое задание во время войны важнее, чем жизнь тысячи-другой жидовок и жиденят. Даже того, что его самого мы спасли, не хочет понять...

— Ну, судя по его бумагам, спасали его не мы, и вообще, он бы мог у американцев остаться,— отвечает другой.

— Какое это имеет значение. Важен принцип,— потом ухмыляется и спокойно говорит: — Он еще не знает, что мы ему через пару месяцев покажем... Пожалеет, что вернулся на родину.

* * *

Сцена 80. **1952 год, декабрь. Москва.**

Совещание в одном из административных зданий без вывески в центре города. Немногочисленная аудитория. Проводят и присутствуют люди в штатской одежде. Среди присутствующих и тот «сотрудник», который два месяца назад вызывал Люса.

Выступающий говорит:

— Несколько месяцев назад товарищ Сталин обратил внимание наших органов на то, что сейчас еврейская колония в СССР более опасна, чем немецкая колония у нас в 1941 году. Напомню: это слова вождя. Опыт нейтрализации немецкой колонии у нас имеется,

и в ближайшее время этот опыт 1941 года мы должны будем использовать применительно к еврейской колонии. На вас, присутствующих здесь, ляжет основная работа по реализации намеченного партией, правительством и лично товарищем Сталиным радикального оздоровления обстановки в европейской части Союза. Это должно быть достаточно густое сито, чтобы после осуществления готовящихся мероприятий все нежелательные элементы были вывезены за Урал, а на этой очищенной территории осталась национально однородная, сплоченная, патриотически настроенная народная масса, и тогда мы сможем эффективно противостоять давлению Запада. Подробные указания будут даны вам через месяц. Слово предоставляется товарищу Суслову.

— Я хочу обратить внимание на необходимость эффективного идеологического обеспечения этих действий. Я понимаю, что у ваших специалистов есть опыт подобных операций на Северном Кавказе и в Крыму. Но здесь практически не будет иметь место компактное проживание тех, кому предстоит переселение. Может быть, здесь будет полезен известный вам немецкий опыт избирательных чисток. Думаю, что поможет вам и анализ наших действий в Литве в 1945—1946 годах, когда мы с присутствующим здесь товарищем Судоплатовым произвели необходимую селекцию населения. Готовиться нужно серьезно, предусматривая все детали, не допускать мародерства и хищения ценностей.

* * *

Сцена 81. **1952 год, декабрь. Харьков.**

Коридор в детской поликлинике. Две чернявые, кареглазые словоохотливые бабенки, ожидая со своими десятилетними белобрысыми мальчишками приема у Анечки, наперебой ее расхваливают. Анечка появляется в этом коридоре вместе с Люсом. У дверей кабинета они прощаются. Аня начинает прием.

— Жених, наверное,— говорит одна из бабенок.

— Видный. Самостоятельный мужчина,— вторит ей другая.

— А вам что за дело, балаболки,— укоряет их проходившая мимо санитарка тетя Маша, работающая в этой поликлинике со дня ее открытия после войны.

* * *

Сцена 82. **1953 год, конец января. Харьков.**

Тот же коридор и те же две бабенки со своими отпрысками. Подняли шум:

— Почему нас записали к жидовке.

— Они травят наших детей.

— Мы будем жаловаться.

— В тюрьме ее место.

Аня стоит в регистратуре у приоткрытой двери, и все слышит. Лицо ее становится белым, как халат.

— Заткните свои вонючие глотки! — кричит на скандальных баб тетя Маша, замахиваясь шваброй.

— Ты, жидовская защитница, прикормили тебя евреи,— отвечают ей они.

Шум не прекращается. Что-то начинают выкрикивать и другие мамаши, бывшие в этом коридоре, но слов уже не разобрать.

* * *

Сцена 83. **1953 год, конец января. Харьков.**

Люс заходит в поликлинику, чтобы встретить и проводить домой Анну. Ему отвечают, что ее нет. Он в растерянности собирается уходить. За ним на крыльцо поликлиники выбегает пожилая санитарка — тетя Маша, очень любившая Анну, останавливает его и, давясь слезами, тихо говорит:

— Все! Нету нашей Аннушки! Увезли ее!

Люс ничего не понимает и думает, что она арестована, поскольку за две недели до этого в Москве арестовали «врачей-убийц». Наконец сбивчивый рассказ тети Маши проясняет картину. Оказывается, две бабы, пришедшие с детьми лет по десять-двенадцать, устроили в регистратуре скандал, чтобы их не записывали к «этой жидовке, которая убьет их детей!». Анна, речь шла о ней, в этот момент пришла туда, чтобы взять список и «истории болезней» записавшихся.

Услышав эти слова от баб, которые еще месяц назад называли ее «самым лучшим доктором», Анна повернулась и ушла, не взяв бумаги, а через полчаса ее нашли мертвой в пустовавшем кабинете.

— Отравилась, милая! — рыдая, говорила тетя Маша.— Вот тебе записка, и клянусь я, что баб этих с их немецкими выблядками здесь на пороге больше не будет. Я уж знаю, что сделаю.

Люс развернул записку и прочитал пять слов, написанных рукой его любимой: «Все было напрасно. Целую. Анна».

Тяжесть этой потери Люс осознал не сразу.

Сцена 84. **1953 год, март. Москва.**

Документальные кадры похорон Сталина.

* * *

Сцена 85. **1953 год, март. Харьков.**

«Сотрудник», принимавший Люса, теперь уже один в большом кабинете. Разговаривает с Москвой по спецсвязи. Оттуда команда: «Все прекратить, любые записи, относящиеся к этой проблеме, уничтожить».

Растерянное лицо «сотрудника», кладущего трубку.

Посидев некоторое время в молчании, он снова берет трубку телефона и набирает номер.

— Извини, дорогой.— говорит он.— С квартирой Шавельзона ничего не получится. «Почему» спрашиваешь? Газеты читай. В общем, опять жидкам повезло. Ну, ты же не один пострадал. Потерпи. Партия тебя не оставит и что-нибудь придумает.

* * *

Сцена 86. **1954 год, лето. Харьков.**

К Люсу приходит Петя. Он вырос в сильного, повидавшего жизнь мужика. Разговор братьев.

Люс рассказывает о встрече с «управдомом» и о своем походе в «органы».

— Его присутствие мучает меня. Я не могу жить на свете, зная, что он благоденствует где-то рядом,— заканчивает свой рассказ Люс.

— Ну зачем тебе эти сраные «органы»? — говорит Петя.— Я его замочу в лучшем виде. Мне убить суку, что два пальца обоссать. Не в первый раз.

Люс не хочет, но Петя все-таки узнал у него адрес «управдома».

— Будет порядок! — успокаивает он Люса.— Только ты исчезни на недельку из города, чтобы тебе ничего не могли пришить.

— А ты как? — спросил Люс.

— А я по какому-нибудь пустяшному поводу уйду на зону. Там ведь я в «авторитете»

и в законе. Зона мне как дом родной. Перстень же я верну тебе вместе с пальцем этого фраера. Не боись, искать меня никто не будет. У них и так там переполох — Берию прихлопнули...

Петя уходит, а Люс достает из ящика путевку в Дом отдыха, которую ему вчера выдали на работе.

«Все одно к одному,— говорит он сам себе.— Значит, все идет, как надо».

* * *

Сцена 87. **1954 год, лето. Харьков.**

Квартира «управдома». «Управдом», собиравшийся выйти на улицу и потому уже надевший пиджак с орденскими планками, сидит, привязанный к стулу. Рот его забит тряпкой. Петин кореш-напарник шурует по ящикам в поисках ценных вещей. Находит кисет, набитый какими-то железками. Вытряхивает содержимое на стол — там золотые кольца и сережки. По столу катится детское золотое колечко.

— С живых снимал или с мертвых? — спрашивает Петя.

«Управдом» что-то мычит в ответ.

Петя разворачивает на столе перед «управдомом» карту Харькова, ставит на стол бутылку водки и граненый стакан и говорит ему:

— Сейчас мы с тобой, гнида, пойдем от твоего дома, где ты занял еврейскую квартиру, к синагоге, а затем по проспекту Сталина до того места, куда ты сгонял евреев.

Петя говорит и с каждой фразой легко штрикает «управдома» финкой:

— Вот мы вышли к синагоге.

— А теперь идем по проспекту Сталина.

— Вот перешли мост через речку!

— Вот мы на Конной площади!

Тут Петя налил полстакана водки и встал со словами:

— Помянем же, друзья, тех, кто не дошел до этой площади и был убит такими ублюдками, как ты.

И он медленно выпил водку.

— Теперь идем дальше.

— Вот мы на Балашевском мосту.

— Вот идем мимо Тракторного завода.

«Управдом» дрожит и извивается при каждом уколе ножа. Ужас в его глазах.

— Ну вот и пришли! — говорит Петя.— Теперь пойдешь в ад рапортовать лично товарищу Сталину. Он уже тебя там заждался.

Петя перерезает ему горло. Кровь «управдома» течет на орденские планки. Петя с корешом сидят на кухне, пьют водку, закусывая консервами,— все из запасов управдома. Кореш приносит из комнаты патефон, ставит первую попавшуюся в руки пластинку. Квартиру заливают волшебные звуки шубертовской «Серенады». Пете кажется, что голос тенора уходит в синее небо за окном.

На глазах его слезы. Чтобы скрыть свою слабость, говорит:

— Люблю культурно отдохнуть после работы!

И потом:

— Теперь уходим!

— Подожди! — говорит кореш.— Есть еще одно дело.

Он берет горсть орденов и медалей, найденных им при поиске ценностей, и бросает в мусорное ведро. Мелькает медальный профиль Сталина. Кореш спускает штаны и испражняется в то же ведро.

— Вот теперь порядок! — говорит он.

— Ну, может быть, это — лишнее? — задумчиво говорит Петя. Уходят.

* * *

Сцена 88. **1954 год, лето. Харьков.**

Люс возвращается из Дома отдыха. Узнает, что Петю арестовали за ограбление киоска.

Однажды, когда он идет с работы, к нему у вокзала подходит девка из блатных и протягивает пакетик, завернутый в обрывок газеты.

— Это тебе, фраер! — говорит она Люсу.

Люс дома разворачивает пакетик. В нем оказывается перстень его отца. Собираясь скомкать и выбросить газету, вдруг замечает знакомую физиономию на опубликованной фотографии. Это оказывается «управдом» и тут же некролог: «...трагически погиб...», «Группа товарищей».

* * *

Сцена 89. **1956 год, лето.**

К Люсу приходят Коля и Майя — красивая невысокая женщина. Они идут в открытое кафе в городском саду. Майя рассказывает свою историю после того, как они с Люсом разделились на подходе к Донцу. Она вернулась, отбыв пять лет сталинских концлагерей и пять лет поселения. Теперь хлопочет о реабилитации.

— Так я свою целку (девственность), которую от особиста ценой лагерей уберегла, там на зоне на пайки да на поблажки разменяла!

Люс смотрит на ее сильные и жилистые, как у мужчины, руки и говорит:

— Ну ты благодарить должна этого особиста! Представь себе свою судьбу, если бы он, как ты просила, послал бы тебе санитаркой, и попала бы ты в харьковский котел, а что было с теми, кто в котле оказался, я хорошо помню, и рассказать страшно.

Когда они выходят в парк, Коля говорит, что он спешит, и оставляет их вдвоем.

Идут молча. Потом Люс говорит:

— Я готов продолжить наш разговор, начатый в 42-м на сеновале.

— Ты не видишь, что я — старуха?

— Я сказал,— не задумываясь отвечает Люс.

— У меня дочери пять лет!

— Вырастим и выдадим замуж,— говорит Люс. Она долго смотрит ему в глаза, потом раскрывает объятия: «Ну, здравствуй, Люс!»

* * *

Сцена 90. **1998 год, лето. Харьков.**

Продолжается видеоинтервью со старым Люсом.

Интервьюер спрашивает его:

— Вы прожили жизнь, полную смертельных опасностей. Неужели у вас не было ни единого случая, когда вам, чтобы спастись и выжить, пришлось убить человека?

— Как ни странно, случай, о котором вы говорите, произошел у меня не во время войны, а лет двадцать—двадцать пять назад в Москве.

* * *

Сцена 91. **1974 год, лето, Москва.**

(Люс продолжает рассказ, и его голос слышен за кадром.)

В один из своих отпусков я поехал в Москву навестить двоюродного брата моей матери. (Оставшись без отца, матери и брата, я стал чувствителен к родственным связям и старался восстановить родство, нарушенное войной). Это был уже глубокий старик, похожий на старых евреев из анекдотов, и когда он вышел проводить меня к троллейбусу — остановка была почти у входа в его парадное, он привлек всеобщее внимание и своим видом, и особенно своим акцентом, потому что он был глух и говорил очень громко.

Мы расстались. В троллейбусе было просторно, и я, оставшись на задней площадке, стал смотреть в заднее панорамное окно. Это было где-то в районе Разгуляя. Я залюбовался Богоявленской церковью и не сразу почувствовал, что меня подталкивают справа: сначала я просто отодвигался влево и только, когда двигаться уже было некуда, посмотрел, откуда исходит неудобство. На меня смотрели исполненные ненависти глаза, и я услышал шипение:

— А тебя и не узнать! Если бы не пархатое чучело на остановке, ни в жисть не узнал бы в тебе жида!

Парень был молод, и одет не бедно, но с вызовом. Я думал, что он пьян, и отодвинув его от себя, спокойно сказал:

— Отстань, сявка!

— Сейчас ты узнаешь, какой я сявка!

И я увидел в его руке небольшой нож.

— Кровью умоешься,— продолжал он шипеть.

Я быстро оглядел салон. Несколько человек, сидевших спиной к движению и стоящих в проходе, явно видели происходящее на задней площадке, но воротили морды, делая вид, что это их не касается. И вдруг я вспомнил уроки сержанта Шульца, преподававшего рукопашный бой в спортзале на окраине Берлина.

Сявка же в это время, проследив за моим взглядом, тоже повернул голову так, что его горло на миг оказалось открытым для моей правой руки, и в этот миг ребро моей ладони резануло по его кадыку. Он выронил нож и двумя руками схватился за горло, задыхаясь и хватая воздух ртом, а я двумя руками резко рванул его голову вбок и чуть вверх. Это тоже был один из

приемов Шульца, приемов, владение которыми он доводил у своих учеников до автоматизма. В моих руках что-то хрустнуло, и сявка свалился в угол площадки. Салон по-прежнему безмолвствовал. Раздался голос водителя: «Лялин переулок». Я вышел и не спеша пошел к Курскому вокзалу, где в камере хранения меня ожидал мой чемодан.

Через час я уезжал из Москвы. Я стоял у окна, и мне вспомнилась любимая фраза Шульца: «Наступит час, когда вы меня еще вспомните, шенки»

Вот и для меня, хотевшего забыть все, что со мной было в Германии, наступил этот час. «Где он сейчас, сержант Шульц? — думал я.— Дожил ли он мирно свои дни где-нибудь в Аргентине или даже в Баварии, или был расстрелян под горячую руку в 45-м?» Во всяком случае я его вспомнил, как он и предсказывал.

Я никогда и никого не хотел убивать, но ни об «управдоме», ни о московском подонке я не вспоминал, и угрызения совести меня не мучили. Меня и мою семью истребляли машины, именуемые «общественными устройствами», за которыми, конечно, стояли конкретные человекоподобные существа, но лишь двое из них возникли на моем пути.

Эта московская встреча очень тяжела — я увидел живое доказательство того, что машина нацизма еще работает. Может быть, она вечна?

* * *

Сцена 92. **1998 год, лето. Харьков.**

Интервью продолжается, и интервьюер снова задает Люсу вопрос:

— Как же все-таки сложилась ваша послевоенная жизнь? В общих чертах, если можно.

Люс рассказывает.

— Как вы знаете, в Харькове я остался один из всей нашей большой семьи. Да и за пределами Харькова моих дальних родственников уже совсем немного. Дед и бабка так и умерли от голода в 33-м в разоренной еврейской колонии в Крыму. Старший брат погиб в первую неделю войны под Нарвой, куда бросили всех курсантов его училища с винтовками «образца одна тысяча восемьсот затертого года». Не успел ни жениться, ни полюбить. Майю я похоронил три года

назад. Дочь ее вышла замуж, не забывает меня, зовет папой. А общих детей нам с Майей Бог не дал. Семьи моей тетки и двоюродного дяди — все, кто дожил, уехали в Америку и в Германию. Вон их фотографии. Когда умерла Майя, меня они приглашали в Германию и в Штаты. Я съездил на месяц в Германию, но ничего не узнал ни в Берлине, ни в других местах. Совсем новая страна. Впрочем, однажды вынырнуло прошлое — невероятный случай.

* * *

Сцена 93. **1995 год, лето. Берлин.**

(Продолжение рассказа Люса. Его голос звучит за кадром.)

По харьковской привычке я собирался перейти улицу, не дожидаясь зеленого света. Из промчавшегося у моего носа «Мерседеса» грозят кулаком. Вдруг за переходом «Мерседес» резко тормозит, оттуда выходит маленький подвижный старик, машет мне рукой и кричит по-немецки «Михайлов! Ко мне».

Я с изумлением и только по голосу узнаю Альфреда. Подхожу. Он обнимает меня. «Мы должны поговорить — у меня два часа до вылета. Садись!»

Я сел в машину. Через несколько минут останавливаемся у открытого кафе, занимаем столик.

Альфред говорит мне:

— Я теперь не Альфред, а Вальтер.

Я говорю:

— Я тоже не Николай Михайлов, а Илья.

Он продолжает:

— Я скрылся в Южной Африке. Занялся коммерцией. Теперь моей фирмой управляет сын, а я вот решил посетить фатерлянд и сейчас уже возвращаюсь в Кейптаун. Я часто вспоминал тебя. Ты мне нравился, хоть я и сдерживался. Кроме того, еврей еврея видит издалека. У меня настоящий отец еврей. Когда мать меня носила, вышли расовые законы, и друг отца, немец, прикрыл их «грех». Его фамилию я и носил. Лет тридцать назад я встретился со своим настоящим отцом, но радости не было. Мы были чужими людьми, к тому же он имел некоторую информацию о моей службе в СС, и в его еврейской голове все это не укладывалось. В своем американском благополучии он даже не мог себе представить, как мы жили в этом проклятом рейхе. А как ты жил?

Я вкратце рассказал о событиях своей жизни. Альфред-Вальтер выслушал не перебивая, потом посмотрел на часы и достал чековую книжку.

— Я хочу тебе немного помочь, Николай, на добрую память,— сказал он.

Но я удержал его руку — я не мог избавиться от мысли, что его богатство основывается на тех мешках, которые мы свозили из концлагерей.

Он постучал чековой книжкой по столу и вдруг задал мне вопрос:

— А Ирму Грезе ты помнишь?

— Помню,— сказал я.

— У тебя, наверное, в жизни больше не было такой красивой женщины?

— Не было,— честно ответил я.

— А ее, молодую и красивую, повесили,— тихо сказал он.— Не прав был князь Мышкин: красота не только мир, но и вообще никого не спасет.

* * *

Сцена 94. **1998 год, лето. Харьков. Завершение видеоинтервью.**

Последние слова Люса:

— Больше никуда я отсюда не поеду. Я здесь до самой смерти буду рядом с отцом и матерью.

Он показывает за окно, за которым за густой летней зеленью прячется овраг, заполненный телами расстрелянных евреев. Зимой, когда листва опадает, эта братская могила кажется совсем рядом.

— Я иногда слышу их голоса,— задумчиво говорит Люс и закрывает руками глаза.

Конец.

Загадки Дробицкого Яра

Я отношу себя к независимым исследователям Катастрофы. Понятие «независимый исследователь» используется в данном случае без цели попрекнуть зависимостью от каких-либо властей или организаций многочисленные исследовательские центры, вот уже много десятилетий занимающиеся историей Катастрофы, а лишь для того, чтобы подчеркнуть, что автор этих заметок не принадлежит ни к одной из этих уважаемых исторических школ и свободен от любых концепций, предопределяющих направленность поиска, появление которых неизбежно в любом интеллектуальном коллективе, занятом той или иной проблемой и, как правило, находящемся под влиянием своих лидеров и авторитетов.

Итак, мелькают в вечном беге Времени «черные юбилеи» — годовщины расстрела харьковского гетто в Дробицком Яру, все более удаляя нас от этого трагического события.

Теперь эта скорбная дата поминается ежегодно. Проводится кропотливая работа по уточнению не только общего количества, но и поименного состава жертв. Важность этих поисков несомненна. Но не менее важными для будущего Земли являются исследования причинно-следственных связей в таком сложном и трагическим эпизоде истории человечества, каким является Катастрофа.

Как известно, в Советском Союзе проблема Катастрофы была абсолютно ясной: уничтожение шести миллионов евреев в своих корыстных целях осуществили с помощью сионистов и местных националистов немецкие нацисты. А от полного уничтожения советских и некоторую часть восточноевропейских евреев спас товарищ Сталин, во-первых, эвакуировав почти всех «своих» евреев в Ташкент и, во-вторых, освободив узников немецких лагерей смерти при продвижении Красной Армии на Запад.

Евреи, естественно, ни в каких боях с нацистами, согласно сталинско-сусловским идеологическим «установкам», не участвовали (кроме «отдельных евреев»). «Шлы, как бараны, на смэрт, панымаеш»,— как однажды презрительно высказался «вождь».

Теперь уже многие знают, что в боевых частях Красной Армии сражалось 500 тысяч евреев, и вообще все было не так, как записано в советской истории Второй мировой войны. Многие, но не все: Катастрофа цепко хранит свои тайны, и, возможно, история харьковского гетто может послужить одним из ключей к этим тайнам.

Чем же необычна или нетипична эта история?

Вернемся в золотую осень 41-го года. Сентябрь был третьим месяцем плановой эвакуации из Харькова. Но не евреев, конечно. Эвакуации подлежали все партийные, советские работники, все ученые и вузовские преподаватели, полностью все проектные, научные и промышленные предприятия, работающие на оборону. Поскольку в научной и технической интеллигенции тех лет было много евреев, то доля представителей этой национальности в эвакуируемой массе была несколько выше ее доли в населении Украины.

Обратимся к цифрам: всего, по статистическим данным, на восток советской империи было вывезено 11 миллионов человек, из них 1,2 миллиона евреев, т. е. примерно 11 %. Население Украины перед войной исчислялось 40 миллионами человек. Из них евреев было около 3 миллионов человек, или 7,5 %. Однако этот несколько повышенный процент евреев среди эвакуированных был «допущен» по необходимости, а не из гуманных побуждений, совершенно не свойственных сталинскому режиму.

Кто же тогда оказался в харьковском гетто?

По сталинско-сусловской версии, это были глупые и ленивые евреи, которые не захотели бросать свои «бебехи» и не сели в гостеприимно открытые для них эшелоны, отправлявшиеся в Ташкент, за что и были наказаны Судьбой.

В действительности же, и теперь, благодаря «количественным» исследованиям трагедии, это точно доказано, 98 % согнанных в гетто и расстрелянных в Дробицком Яру людей составляли молодые женщины с малолетними детьми, старики и старухи.

Возникает вопрос: а где же были молодые мужчины? Ответ прост: они были призваны в армию, и во время призыва им обещали, что об их семьях — семьях военнослужа-

щих, участников боевых действий,— наше «родное государство» и, конечно, лично товарищ Сталин непременно позаботятся.

Поскольку украинский призыв 41-го года с уровнем вооружения, соответствующим известной песне «десять винтовок на весь батальон, в каждой винтовке последний патрон», немедленно отправлялся в мясорубку и шел на убой, чтобы хоть на неделю или на один день задержать продвижение немцев, все, кроме случайно уцелевших единиц, призванные в армию молодые евреи Харькова погибли, так и не узнав ничего об участи своих детей, родителей и жен, уверенные, что «гений всех времен и народов» «лично» обеспечил их безопасность. Вот почему у жертв Дробицкого Яра осталось так мало родственников: семьи уничтожались полностью — мужчины в небоеспособных войсках, а их близкие — в гетто и в «ярах».

Теперь, спустя более полувека после трагедии,— лучше поздно, чем никогда,— все-таки следует разобраться в том, как «позаботился» сталинский режим о своих гражданах.

Для этого опять вернемся в осень 41-го года. С падением Киева даже бездарным сталинским полководцам стало ясно, что левобережье Днепра им тоже не удержать, и ближайшим естественным рубежом на Юго-Западном фронте для следующей попытки остановить врага стал Северский Донец, вдоль которого уже с конца августа начали создаваться оборонительные позиции. Таким образом, судьба Харькова была предрешена, и из города вывозилось все, что могло служить обороне. Немцам, уверенным в своей скорой победе (битвы под Москвой еще не было), видимо, не хотелось разрушать Харьков, и бомбежки были неинтенсивными.

В конце сентября — начале октября в городе со стороны Полтавы уже была слышна артиллерийская канонада — фронт приближался. Эвакуация предприятий и учреждений шла полным ходом, а о семьях военнослужащих никто и не вспоминал. Несмотря на то что Бабий Яр уже состоялся, и московская власть об этом знала, в начале октября в Харькове особенно интенсивно стали распространяться слухи о том, что «зверства немцев» по отношению к евреям — выдумка большевиков и на самом деле все не так. Цель этих «слухов» была очевидна: они должны были удержать колеблющихся от стремления покинуть город. «Колеблющимися» были прежде всего оставшиеся без призванных в армию мужей молодые женщины с малыми детьми и стариками-родителями, и нет сомнений, что эти слухи породили у многих из них надежду как-то пережить оккупацию.

К 15—20 октября создание оборонной линии по Донцу было завершено, все «нужные» заводы и люди вывезены, и вечером 22 октября город был просто оставлен и более суток был ничьим. Даже если бы перед уходом сталинской администрации из Харькова еврейскому населению города было бы честно рассказано о трагедии Бабьего Яра и о смертельной опасности, надвигающейся на него с Запада, большая часть будущих жертв Дробицкого Яра могла бы пешком уйти за этот «ничейный» день за будущую линию обороны — за Донец, кратчайшее расстояние до которой — до участка Чугуев — Эсхар — составляло всего 25 километров! Отправка же потом этих людей в глубь страны возвратными эшелонами, снабжавшими линию фронта по Донцу, не создала бы никакой экономической или организационной трудности. Но эти люди были не нужны сталинскому режиму, и этого не случилось.

Многие евреи-военнослужащие, находившиеся в обороне за Донцом, могли слышать залпы расстрелов их близких в Дробицком Яру на восточной окраине Харькова за несколько месяцев до того, как им самим было суждено бесследно исчезнуть в Харьковском котле, уготованном им бездарными полководцами.

Так, благодаря действиям гитлеровской и бездействию сталинской администраций были полностью уничтожены несколько тысяч еврейских семей, которые хотя бы частично могли быть спасены без особых усилий властей. Подобные же удивительные совпадения действий немцев и бездействия сталинской власти в части уничтожения «граждан СССР еврейской национальности» имели место и во многих других населенных пунктах, оставлявшихся врагу.

Остается выяснить, были ли эти совпадения трагической игрой Случая, следствием общей неразберихи, паники, торопливости властей на местах (хотя, например, в Харькове никакой паники не наблюдалось), или же они были частью дьявольского плана «вождя всего прогрессивного человечества», реализуемого руками «любимого всеми немцами фюрера» и его подручных.

Никакие прямые сталинские документы об обращении с евреями на оставляемых врагу территориях пока не обнаружены. Но историки знают, что во времена сталинского режима многие массовые акции проводились весьма организованно и без всяких письменных указов, приказов, распоряжений и инструкций. Злодеи боялись суда истории несколь-

ко больше, чем Божьего суда. Либо эти документы были потом очень хорошо спрятаны.

Так, не найдены по сей день документы, касающиеся уничтожения поляков под Харьковом и в Катыни, об организации голода в Украине в 1932—1933 годах, об этнических чистках в Крыму и на Северном Кавказе в военное и послевоенное время.

Однако целый ряд фактов косвенно свидетельствует о некоторой, мягко говоря, заинтересованности сталинского режима в реализации немецких планов «окончательного решения еврейского вопроса»,— если не во всем мире, то, по крайней мере, в пределах оккупированной территории советской империи и всей Восточной Европы, входившей в зону «жизненных интересов» московского правителя, а в отдельных случаях, как, например, в судьбе харьковского гетто, просматривается даже определенная координация действий.

Перечислим же эти факты.

Первое. Только в Центральной и Восточной Украине и на юге России полное уничтожение евреев производилось сразу же после вступления немецких войск. В Киеве и большинстве других населенных пунктов вообще не было гетто, и евреев вели на расстрел прямо из дому, а существование, например, харьковского гетто было весьма кратковременным, в отличие от «жизни» гетто в Польше и других странах Европы. Заметим также, что массовые расстрелы евреев Украины происходили до перехода немцев к «окончательному решению еврейского вопроса», оформленного на совещании 20 января 1942 года в Берлине на Гросс-Ванзее («ванзейский протокол»). Зная немецкое приказопослушание, остается предположить, что кто-то, отдавший приказ о немедленном уничтожении евреев на территориях, захваченных осенью 1941 года, знал, что эта оккупация будет недолговечной, и торопился успеть провести эти акции. В охваченной победной эйфорией и считавшей дни до падения Москвы гитлеровской верхушке этим «кто-то» мог быть только агент Сталина: после острого приступа патологического страха 22—30 июня 1941 года Сталин еще около месяца был в панике и мечтал о втором Брестском мире, пытаясь через посредника (Болгарию) предложить Гитлеру Украину в обмен на мир, но под влиянием толковых советников, доходчиво объяснивших «гению всех времен» бесперспективность для Германии ее восточной авантюры, уже к середине августа он пришел в себя и получил первые убедительные подтверждения поддержки Англии и США. С этого момента

уверенность в победе над Гитлером его уже не покидала, и с сентября 1941года он начал думать о послевоенном устройстве Восточной Европы. Об этом говорил И. Майский, отметивший в своих воспоминаниях, что с первыми предложениями к будушей перекройке карты Европы Сталин неофициально ознакомил руководство английской делегации за несколько лет до Ялты, в октябре или ноябре 1941 года, после того как устроил им экскурсию на подмосковный фронт. А в это время на всей оккупированной территории до берегов Северского Донца немцы проводили тщательную этническую чистку, вылавливая уцелевших евреев и цыган с таким азартом, будто от окончательной победы их отделяла только жизнь спрятанного еврейского ребенка.

Второе. Ситуация в Белоруссии, оккупированной за несколько первых дней войны, отличалась от украинской: там не успели провести полную мобилизацию и оторвать всех евреев-мужчин от их семей. Кроме того, исторический опыт противостояния русским и польским погромщикам, а в этих погромах почти всегда участвовали регулярные воинские части, научил здесь евреев в минуту опасности браться за оружие и никому не верить (ни одного погрома в истории Харькова, например, не было), и несколько сот мужчин-евреев, отбившись от немцев и захватив оружие, ушли со своими семьями из Минского, Несвитского и других гетто в леса, образовав партизанские отряды, искавшие связи с «законными» группами сопротивления, управляемыми из Москвы. Когда в сентябре 1941 года узнали об этом в Москве, оттуда «законные» получили приказ не допускать стихийного партизанского движения. Когда же «с мест» сообщили, что уничтожение еврейского сопротивления силами «красных» партизан произведет неблагоприятное впечатление на крестьян, сочувствовавших и прятавших евреек с детьми от немцев, последовало «мудрое» указание «вождя»: пусть «они» отвезут свои семьи назад в гетто (!) и тогда приходят в «красные» отряды. Опять просматривается все та же схема, заимствованная у младотурок в период проведенного ими истребления армян: отделять боеспособных мужчин от их семей и уничтожать раздельно. Эта же схема в определенной мере реализовывалась во время депортации татар, калмыков, чеченцев: чистка проводилась, когда большинство мужчин были в армии, а тех, кого заставали дома, даже воинов, получивших отпуск «на недельку», расстреливали тут же «за сараем», а потом, как немцы в Украине, «охотились» за спрятанными детьми.

Третье. Ни один гражданин советской империи, спасавший евреев от немцев, не был награжден за свой подвиг, хотя он рисковал не только своей жизнью, но и жизнью близких, а многие спасители потом оказались в ГУЛАГе за пособничество (!!) немцам. В то же время за «ликвидацию» еврея Троцкого наемный убийца Меркадер уже после смерти Сталина стал Героем Советского Союза. Тогда же «наш дорогой Никита Сергеевич» пожаловал это звание и двум арабским нацистским главарям — авансом за будущее истребление евреев Израиля, а подручные Сталина по убийству еврея Михоэлса были награждены орденами Отечественной войны (!) I степени (вероятно, евреям-участникам боев с немцами очень «приятно» носить такие же награды). В советской империи была уничтожена сама память о тех, кто оказывал помощь тысячам обреченных на уничтожение евреев (А.Шептицкий, Р.Валленберг и др.). Многие десятилетия скрывалось, что объявленные советской исторической наукой «кровавыми палачами» руководители стран, обреченных на сотрудничество с Германией геополитическими и экономическими причинами,— Антонеску, Хорти, Маннергейм, царь Борис, Муссолини, Франко были, кроме короля оккупированной Дании, теми немногими государственными деятелями периода Катастрофы, кто оказывал на дипломатическом и практическом уровнях твердое сопротивление действиям немцев по депортации и уничтожению граждан своих стран — евреев, в то время как силы антигитлеровской коалиции (за исключением французского и югославского сопротивлений) не провели ни единой специальной военной акции по спасению гибнущих евреев и оставили без какой-либо военной и материальной поддержки сражавшееся Варшавское гетто, хотя они к тому времени полностью владели воздушным пространством над Европой. Следует также отметить, что союзники под нажимом Сталина даже отклонили немецкие демарши и предложения по обмену миллиона евреев, обреченных на смерть, на какую-то техническую рухлядь.

Четвертое. Пик Катастрофы для евреев Восточной Европы пришелся на 1943—1945 годы, на период «после Сталинграда» и «после Курской дуги», когда неизбежный разгром Германии был очевиден даже ребенку (в буквальном смысле об этом имеется запись еврейского подростка, спрятанного в Нидерландах,— М.Флинкера), и это означает, что кто-то торопился выполнить эту «миссию» руками обреченных на поражение немцев и что этот кто-то не боялся возмездия, имея надежные (как он думал) пути отступления и надежных

(как ему казалось) защитников. Несмотря на то что расположение концлагерей уничтожения было известно всем, союзниками не было произведено ни единой попытки точечными ударами с воздуха разбомбить газовые камеры и крематории и тем самым замедлить процесс уничтожения евреев. Не было также знаменитых «бросков» и «ударов» с целью хоть на день раньше освободить концлагеря. Все было сделано, чтобы немцы в этом плане могли спокойно «работать», и война в этих проклятых Богом местах не ощущалась, даже когда фронт был уже в десятке километров от них. Нередко эшелоны с евреями в лагеря смерти беспрепятственно уходили из городов, попадавших в руки «красных» через час-другой, и «пассажиры» этих эшелонов «без пересадки» следовали в газовые камеры и крематории.

Пятое. До осени 1942 года, т. е. до того момента, когда все евреи, оказавшиеся на оккупированной территории в руках немцев, были уничтожены, московские СМИ хранили молчание об этом преступлении, хотя московские власти имели и проверенную информацию, и статистику их «ликвидации». Последующие же сообщения по данному вопросу, пропущенные в прессу в период поступления эффективной помощи от евреев США в советскую империю, были весьма сдержанными и формальными, а после войны эта тема до 1986 года вообще оказалась под запретом. Косвенным свидетельством осведомленности Сталина и его прихвостней не только о фактах, но и о «технологии» массового уничтожения евреев было наличие в хозяйстве «вождя» с 1944 года «сухой ванны», где, как и в «душевых» Треблинки, «мылись» газом «циклон В» одноразовые подруги «гения всех времен» после интимных услуг (подробности приведены в опубликованном документальном рассказе Ю. Нагибина «Любовь вождей»). Как и в Треблинке, в помещении имелся глазок для контроля за ходом «процедур».

Шестое. По непонятным причинам Сталин настойчиво, всеми дипломатическими и недипломатическими средствами, торопил открытие еще совершенно неподготовленного Нюрнбергского процесса — его одолевало нетерпеливое желание поставить последнюю (как ему казалось) юридическую и историческую точку в хронике гитлеровских преступлений, включая Катастрофу, и забыть обо всем.

Седьмое. Сразу же после войны (в конце 1945 — 1946 году) сталинская империя становится мировым центром антисемитизма: устраиваются погромы в подконтрольной Польше, начинаются безнаказанные убийства евреев «бандитами»

(убийство Героя Советского Союза — еврея в Киеве, детей в Одессе, истребление чешских евреев-коммунистов, издевательства и убийства в процессах «разоблачения» генетиков и «космополитов», Еврейского антифашистского комитета, состоявшего из деятелей еврейской культуры, «врачей-убийц», начало организационных мероприятий по подготовке к депортации евреев из европейской части империи с созданием лагерей смерти на гитлеровский манер) — все эти события послевоенного времени образуют единую дьявольскую цепь и выглядят «естественным» продолжением геноцида евреев, начатого нацистской Германией.

Таковы основные исторические факты, которые в своей совокупности создают впечатление «тихого» содействия или даже соучастия сталинского режима в «окончательном решении еврейского вопроса». Как же могло осуществляться это весьма продолжительное взаимодействие, не оставляя никаких документальных следов?

Исследуя различные загадочные ситуации, возникавшие в период Второй мировой войны, и заходя при этом в тупик, аналитики уже не раз высказывали предположение о наличии на самой вершине гитлеровской пирамиды власти, совсем рядом с фюрером, глубоко законспирированного агента Сталина, не имеющего условий и средств (а может быть, и указаний) для полного физического устранения Бесноватого, но способного направлять отдельные события в нужном для «кремлевского горца» плане. Естественно, что постоянная активная позиция такого агента в вопросах уничтожения евреев и других нежелательных для рейха элементов делала бы его положение среди доверенных лиц фюрера неуязвимым, а разоблачение — крайне сложным.

Этими же аналитиками уже не раз излагалась версия о том, что таким сталинским агентом в ближайшем окружении Гитлера был Мартин Борман — второе лицо в нацистской партии. Этой версии даже посвящен роман Колина Форбса «Вождь и призрак» (Colin Forbes «The Leader and the Damned», русское издание — 1993 г.). Правда, Форбса занимали иные загадки, а такие «мелочи», как быть с участием Бормана, если он при этом был агентом Сталина, в акциях уничтожения евреев, г-на Форбса не интересовали, хотя доподлинно известно, что зловещая тень заместителя Гитлера по партии маячит за каждой акцией уничтожения — будь то евреи, или цыгане, или «бесперспективные арийцы» — бесхозные тяжелые инвалиды, умалишенные, обременяющие нацию на ее «вели-

ком пути». Крайне интересны и посмертные (?) «приключения» Бормана; «охоту» за этим «призраком» в джунглях Южной Америки и в других точках Земли уже прекратило даже бюро Саймона Визенталя, не говоря о всяких непрофессиональных любителях. Но как только мировые СМИ очередной раз реанимируют версию о Бормане как об агенте Сталина, через непродолжительное время в московской прессе с ссылкой на неизвестные «западные источники» появляется сообщение о том, что какой-нибудь «ихний» «спецназовец на покое» готовит сенсационнейшую книгу о том, что Борман был ими выкраден из горящего Берлина по указанию Черчилля или Трумена и мирно дожил свои дни в забытой английской деревушке или на хозяйственном дворе в Кемп-Дэвиде. Продолжения у этих кратких сообщений обычно никогда не бывает.

Вспомним о том, что просвещенный мир за минувшие полвека так и смог понять логику, лежавшую в основе немецкого каннибализма 1943—1945 годов, и получить ответ на вопрос, почему страна, ощутившая неизбежность своего поражения, вместо спасения своего народа была поглощена заботами об уничтожении огромной массы людей, чье существование никоим образом не связано с судьбой немецкой нации?

В действительности же то, то представлялось идиотизмом системы и ее функционеров, могло иметь вполне логическое объяснение: всемогущий Борман именем одного фюрера выполнял задание другого фюрера.

И задание это выполнялось им неукоснительно: под его контролем и по его распоряжениям гибнущая Германия уничтожала людей до последнего мгновения своего существования, и, когда уже не хватало солдат и оружия на фронтах и под пули гнали немецких четырнадцатилетних мальчишек из гитлерюгенда, дюжие бойцы продолжали уничтожать чужих детей.

По воспоминаниям уцелевших, Борман был в имперской канцелярии единственным, кто сохранял хладнокровие и выдержку, и это понятно: он полагал, что полностью владеет обстановкой, так как все московские задания им были выполнены. Впереди был один лишь тревожный момент — переход линии фронта, который был им подготовлен, но война есть война, и любые случайности не исключены.

Однако этот переход прошел благополучно. Московские «друзья» переодели «товарища» в штатское (таким его последний раз увидел один из «слуг фюрера»), а затем лица, выделенные для его сопровождения «в ставку», застрелили его в инсценированной ими перестрелке у Лертеровского

вокзала. Впрочем, неспровоцированное попадание артиллерийского снаряда также могло иметь место.

Находка же и идентификация останков Бормана примерно в том месте, которое было указано со слов свидетелей, положившая конец «версиям» о том, где прячется Борман, более подтверждает, чем опровергает предположение Гелена.

Отметим, что в упомянутом выше романе Форбса Бормана в мае 45-го доставляет из Берлина в Москву для свидания со Сталиным и последующего расстрела некая «Ольга Ренская». Прообразом этой героини является реальная женщина, публикующая и подписывающая свои военные воспоминания и рассказы именем «Елена Ржевская». Вероятно, сегодня, когда многое тайное становится явным, она могла бы пролить некоторый свет не только на историю с обгорелыми костями Гитлера, но и на судьбу Бормана, а пока его роль как сталинского агента и, помимо прочих услуг,— реализатора «идей» вождя по этнической «зачистке» его будущих владений и зон влияния, проводившейся сначала покойным бесноватым фюрером, а потом собственноручно и лично «гением всех времен», остается версией, объясняющей в случае ее подтверждения все, пока еще безответные, загадки Катастрофы.

В заключение — несколько слов о возможных мотивах сближения позиций Сталина и Гитлера в проблеме «окончательного решения еврейского вопроса».

Проведя «тихий» национал-большевистский переворот в 1929—1934 годах, Сталин ясно ощутил безоговорочную поддержку русских национал-большевиков (призывы в партию после 1924 года), охотно признавших его очередным наместником Бога на Земле, и не менее ясно почувствовал упорное противодействие большевиков-интернационалистов ленинской школы, имевшей высокий процент евреев, последовательно разобщенных и уничтоженных «вождем» в 1936—1940 годах. Эти годы убедили «вождя», что евреи непригодны для строительства национал-большевистской империи и что боготворить какого-либо «гения» они неспособны по своей природе (за редким исключением, естественно).

С таким же неприятием евреями «вождизма» столкнулся и фюрер на пути к вершинам власти в Германии. К тому же евреи, по его мнению, обязательно помешали бы немцам после завоевания планеты управлять остальными «унтерменшами», которые на определенном этапе понадобятся немцам как рабы, а потом уже будут полностью уничтожены, так как планета должна быть немецкой.

Но если Гитлера к тому же терзала неутоленная личная ненависть к нормальным людям, ненависть шизофреника, физического урода и импотента, то Сталин, во всяком случае до обострения паранойи в 50-х годах, антисемитом не был — он поддерживал дружеские отношения и неизменно защищал от усерднейших русских национал-большевиков Эренбурга, Пастернака, Тарле и других евреев, на которых давно были заведены «дела», достаточные для расстрела. Даже когда его болезнь уже резко прогрессировала и он искал врагов под кроватью, он одним словом опрокинул планы кровавого идеолога Суслова, организовавшего «дело историков-космополитов» во главе с Тарле и успевшего уже провести «разоблачительные митинги» в МГУ и ЛГУ.

И в эти же годы, после спланированного и реализованного под его личным руководством убийства Михоэлса, убийств членов Еврейского антифашистского комитета и ареста «врачей-убийц», он организовывает депортацию евреев в лагеря смерти, подготовленные на востоке империи, сорвавшуюся лишь по причине его собственной смерти. Все это он предпринимает исключительно по «государственным» (в его понимании) соображениям: он видит свою миссию уже не в создании Советского Союза, а в возрождении Российской империи, которую недостроил Столыпин, брат которого являлся к тому же автором идеи учреждения для евреев лагерей уничтожения или специальных гетто для «ликвидации» этого народа на «научной основе», а также депортации других «ненужных» народов в Сибирь. Так и Сталин рассматривал депортацию и вымирание евреев лишь как начало нового «великого переселения народов», ибо по его плану широкая полоса между Балтийским и Черным морями должна была заселиться «качественным народом» (как в Крыму, например), способным грудью заслонить империю от растленного влияния Запада.

Характерно и то, что, приступая к этим грандиозным национал-большевистским планам, Сталин даже пожертвовал многолетней дружбой с Берией: будущий «агент мирового империализма» принадлежал к мегрельскому племени, веками жившему в Западной Грузии бок о бок с евреями в мире и дружбе, да и старинный и славный в грузинской истории род Гегечкори — род жены Берии — был традиционно дружен с евреями. Не говоря уже о том, что, курируя «атомный проект», Берия мог попасть под влияние умных и хитрых евреев-атомщиков. Поэтому в своих кровавых замыслах конца 40-х — начала 50-х годов Сталин опирался исключительно на русский наци-

онал-большевизм, представленный Маленковым, Хрущевым, Сусловым, Игнатовым и другими представителями «партийной молодежи», дорвавшейся до власти уже после смерти тирана, а для окончательного удаления Берии «вождь» придумал «мегрельское дело», ставшее охотой на ставленников батоно Лаврентия по всей империи.

Забегая вперед, следует отметить, что Сталин был дальновиден и прав в своих опасениях, что в преследовании евреев на грузин опираться нельзя: когда уже по велению Хрущева группе советских офицеров — уроженцев юга империи была предложена «высокая честь» (и главное — высокие заработки) советовать Насеру, как лучше «сбросить Израиль в море», офицеры-грузины от этой чести дружно отказались.

Смерть не позволила Сталину осуществить задуманное, и Берия, еще сохранявший свою осведомительную сеть, был, естественно, в курсе личного участия Маленкова, Хрущева и К° в расправах над евреями в начале 50-х годов и других кровавых делах этого периода, и это знание, как известно, стоило ему жизни, а «суд» над ним и казнь были по-сталински поспешными.

Нужно сказать, что в период Второй мировой войны имелись и другие случаи использования вермахта для изменения внутренней демографической ситуации в советской «империи». Так, например, осажденный Ленинград был своего рода концлагерем уничтожения, где наружное охранение несли немцы, а внутренней, умирающей от голода народной стихией управляли «свои» сытые районные надсмотрщики и участковые «капо», а за спущенными плотными шторами весело пировали начальники умирающего города-лагеря. Они потом, как и положено в лагерно-уголовной среде, были расстреляны по «ленинградскому делу» или тайно умерщвлены (Жданов). И все только потому, что не любил «вождь» ленинградцев, еще помнивших «пламенных ораторов революции» — Троцкого, Ф. Раскольникова, Луначарского, Володарского и других, перед которыми будущий косноязычный «гений всех времен» особенно остро ощущал свою неполноценность. Да и «колыбель революции» в новой и светлой национал-большевистской империи была излишней, и вот те, кто уцелел в период особо жестких в Питере чисток 1936—1940 годов, в большинстве своем оказались в числе умерших от голода блокадников.

Прочность и долговечность сталинского курса на «окончательное решение еврейского вопроса» проявилась и в дальнейшей истории. Через десять лет после Второй

мировой войны, кончившейся для евреев в марте — апреле 1953 года, начался новый этап этого «процесса»: в 1964 года усилиями Насера и московских спецслужб создается вполне легальная Организация освобождения Палестины. Эта «организация» начинает охоту за еврейскими женщинами и детьми на территории Израиля. Нет нужды в сотый раз рассказывать, откуда и как шло оружие в эту «организацию» и где готовились ее боевики,— об этом и сейчас напоминают «катюши», стреляющие по еврейским детским учреждениям.

Меня могут упрекнуть в том, что в этих своих заметках я слишком далеко ушел от Дробицкого Яра, но иначе и быть не могло, ибо все в нашем мире взаимосвязано и едино. И Бабий Яр, и харьковское гетто, и Катынь, и Освенцим, и блокадный Ленинград, и все «организации», убивающие сегодня еврейских женщин, детей и молящихся стариков «славным советским оружием»,— это звенья одной цепи, цепи бесчеловечности и безнравственности, это террор подонков и отбросов общества, нелюдей, присвоивших себе право распоряжаться чужими человеческими жизнями и вовлекающих в свои преступления с помощью демагогии и несбыточных обещаний целые народы. Естественно, что эти заметки не имеют своей целью унизить достоинство или умалить заслуги миллионов людей, сражавшихся со Злом, и тем более тех, кто погиб в этих сражениях. Они были и остаются неизмеримо выше всей нечисти, именовавшейся «военнополитическим руководством» их стран, и только благодаря разуму верности человеческим законам и морали, свойственным этим людям, человечество выжило в прошлом и может выжить в будущем.

Возвращаясь же к истории харьковского гетто, считаю своим долгом отметить, что содержащаяся в эти заметках информация о конкретной обстановке в Харькове осенью 1941 года основана на моих личных воспоминаниях и на рассказах моей матери. После ухода на фронт в августе 1941-го отца, попавшего в 6-ю армию Юго-Западного фронта, дислоцировавшуюся в двух десятках километров от Харькова за Донцом (он погиб в мае 42-го в Харьковском котле), моя мать неоднократно ходила в военкомат, прося выполнить обещание и отправить ее с ребенком в эвакуацию, и всегда возвращалась с советом зайти «через два дня». А в октябре собиравший свои вещички, чтобы удрать, военком посоветовал ей не срываться с места и переждать беду в Харькове, сказав, что за два-три месяца отсутствия «красных» немцы никому ничего пло-

хого не сделают. Лишь совершенно случайно нам с ней 14 октября удалось выехать на восток.

О харьковских событиях после 14 октября я знаю по рассказам жены и ее родственников. Вся ее большая семья оказалась в оккупированном городе и, несмотря на внутрисемейные заботы — нужно было спасать от немцев двух ее двоюродных братьев-полукровок, имевших еврейскую внешность, одна из теток жены укрыла и переправила в безопасное место случайно обратившихся к ней двух евреек с детьми.

Теперь этих спасавших и спасенных почти не осталось. Время делает свое дело, и все меньше становится переживших и помнящих прошлое, и наш долг, долг живущих, поименно вспомнить не только убитых и погибших, но и всех, кто повинен в их гибели,— дабы воссияла ИСТИНА.

Дробицкий Яр сегодня

(Вместо эпилога)

В этом повествовании есть еще одно «действующее лицо» — это Дробицкий Яр, одно из тех мест на Земле, где в 1941—1945 годах обрывались человеческие биографии и живые люди становились строчками в мартирологах или вообще исчезали, не оставляя о себе даже столь малой памяти.

Дробицкий Яр на восточной окраине мегаполиса, именуемого Харьковом, поглотив множество человеческих жизней, сам стал как бы многоглавым и многооким живым существом, имеющим собственную биографию и историю, основной идеей которых была борьба за признание и память. Иногда казалось, что эта борьба им проиграна и на него наступало забвение. Но оттуда, из его недр, смотрели на тех, кто еще жив, десятки тысяч глаз, напоминая о себе, отстаивая свое право на память, и всегда находились живые люди, готовые поддержать эту борьбу. Они говорили и кричали, стучались в двери сильных мира сего. Их уговаривали. Им угрожали. От них отмахивались, как от докучливых мух, но они продолжали требовать и убеждать.

Не все из них дожили до тех времен, когда страна стала освобождаться от навязываемого ей беспамятства. Но это время пришло, и встал вопрос о создании памятника тем мученикам, чей прах покоится в Дробицком Яру. И Люс Флинкер, покидая этот мир на пороге нового века, уходил с верой в то, что память Рахили и Якова, лежащих в этом овраге недалеко от его последнего дома, будет увековечена в мемориале, воздвигнутом на их братской могиле.

Это сооружение станет памятником и многим тысячам еврейских женщин, детей и стариков, и тем, кого здесь захоронили после расправы над ними. Тут будут и слова благодарности тем праведным людям, кто, рискуя собственной жизнью и жизнью своих близких, спасал евреев, чудом избежавших смерти тогда, в первых числах января сорок второ-

го года, как те, кто помог выжить Люсу Флинкеру. Многих из них уже нет среди живых, и у этих надгробий будет отныне и навеки пребывать частица их души.

Рисунок памятника-мемориала в Дробицком Яру завершает эту книгу.

Украина, Харьков, Мемориал «Дробицкий Яр», архитектор А. Лейбфрейд, художник В. Савенков

Лео Яковлєв

«Голокост і доля людини»

Резюме

Книга «Голокост і доля людини» віднесена автором до жанру «роман-роздум» і має складну структуру.

Вона починається великим есе «Слово про "мовчання Бога"», що відіграє роль вступу і присвячене теодицеї — розмірковуванням про взаємодію Добра і Зла, уособленням якого став Голокост, та про неминучість відплати за скоєне зло.

Далі йде оповідь про виникнення авторського задуму роману «Остаточне рішення» («Endlösung») і про долю цього задуму, присвяченого історії єврейської родини, яка майже вся зникла в бурях і лихолітті XX століття. Від цього задуму в його первісній формі збереглися вступне слово («Інтродукція») про випадковості й закономірності в житті людей і три розділи. Один із них присвячений подіям початку XX століття, у тому числі діяльності П. Столипіна і «справи Бейліса», котрі вплинули на долю євреїв у Російській імперії, а потім і в Радянському Союзі.

У другому розділі йдеться про осіб, чиї ідеї і справи спричинили багато горя населенню Європи й особливо — східноєвропейським євреям. Це «творці» Голокосту та інших людських трагедій — Гітлер і Сталін, але постають вони перед читачем цього розділу не на вершині влади, а ще в цілковитій безвісності, коли обидва в січні 1913 року перебували у Відні.

У третьому розділі з'являється родина Флінкерів, розповідається про її життя в Російській імперії до Жовтневого перевороту в 1917 році і про те, як впливали на це життя події і люди, описані в перших розділах.

Решта подій, яким мали були б присвячені розділи роману «Остаточне рішення», викладена в кіноповісті «Це трапилось у XX столітті» («It all happened in XX century»), що ввійшла до цієї книги.

Жанр кіноповісті потребував певного спрощення сімейної історії, і тому в її тексті відсутній розвиток деяких сюжетних напрямків, накреслених у перших розділах роману.

Отже, в кіноповісті у формі розповіді і спогадів головного героя крок за кроком відтворюється життя української єврейської родини протягом 1918—1998 років.

Герой-оповідач і його близькі не зі своєї волі опинилися в числі потерпілих від багатьох бід, що потрясли світ і радянську імперію в XX столітті: післяреволюційних репресій, від «колективізації» та штучного голодомору в Україні, від нацизму, радянського державного терору і радянського державного антисемітизму.

Перед читачем повісті і глядачем майбутнього фільму проходять картини життя предків головного героя у єврейському містечку (jewish township); потім у створеному «Агроджойнтом» («Agrojoint») єврейському сільськогосподарському поселенні, де й народився головний герой,— у пустелі Північного Криму.

Від «колективізації» і голоду його мати й батько, рятуючи дітей, утікають із Криму до швидко зростаючого промислового Харкова. Там їх застає війна.

Старший брат оповідача опинився в армії і загинув у перші дні війни, батька й матір розстріляли нацисти в числі тисяч харківських євреїв, а йому самому за допомогою багатьох людей — українців, росіян, німців, американців — удається врятуватися. Після багаторічних поневірянь у нацистській Німеччині він, по закінченні війни, знову, уже без рідних і близьких, у Харкові.

Життя триває. Помста негіднику, причетному до загибелі сім'ї героя повісті, й час-цілитель заспокоюють його душу, але не владні над пам'яттю. І Дробицький Яр, і нацистські концтабори, де йому довелося побувати, і його втрати — все залишається в його житті, допоки він живий.

Завершує книгу есе під назвою «Загадки Дробицького Яру» («Mysteries of Drobizkiy Jar»), присвячене низці «темних плям» в історії цієї трагедії, і коротке повідомлення про меморіал, споруджений на місці масових розстрілів єврейського населення Харкова.

Leo Yakovlev

Holocaust and Man's Destiny

Summary

The "Holocaust and Man's Destiny" book is attributed by the author to the "novel-reflection" genre and has a complex structure.

It starts with an extensive essay "A Word About God's Silence" that plays the role of an introduction. It is dedicated to theodicee – author's reflections on interrelation of Good and Evil, embodiment of which the Holocaust became, and on inevitability of Retribution for the created evil.

This introduction is proceeded with a story about appearance of the author's idea to write the "Final Solution" ("Endlosung") novel and about the development of this idea, devoted to the history of a Jew family that nearly disappeared in the storms and misfortunes of the XXth century. The introductory word ("Introduction") about accidental and natural phenomena in the lives of people and three chapters were the only parts that survived development of the idea in its original epic form. One of the chapters is devoted to events of the beginning of the XXth century including activity of P. Stolipin and "Beilis Case" that influenced destiny of Jews in the Russian Empire and later in the Soviet Union.

The second chapter speaks about personalities whose ideas and activities brought lots of grief to the population of Europe and especially to East-European Jews. These are "creators" of the Holocaust and other human tragedies — Hitler and Stalin but they are depicted in this chapter not on top of power but still in a complete obscurance when they both were in Vienna in January 1913.

The third chapter speaks about the Flinker family and about their life before the October coup in the Russian Empire in 1917 and about how their lives were influenced by events and people described in first two chapters.

Other events that had to be described in other chapters of the "Final Solution" novel have been described in the film script "It All Happened in XXth Century" that forms a part of this book.

The film script genre required a certain simplification of the family story, that is why some plot directions, initiated in the first three chapters of the novel have not been developed.

Thus, the film script describes the life of a Ukrainian Jew family during the period from 1918 to 1998 in the form of a story and step-by-step recollections of its main character.

The main character and his relatives were destined to find themselves among those who suffered many calamities that shook the world and the Soviet Empire in the XXth century: post-revolution repression, from "collectivisation" and artificial famine in Ukraine, from Nazi movement, Soviet state terror and Soviet state anti-Semitism.

Pictures of life of ancestors of the main character in a Jewish township and later in a Jewish agricultural settlement created by "Agrojoint", where, in a Northern Crimean desert, the main character was born, pass in front of the reader.

His mother and father, trying to save their children from "collectivisation" and famine, flee from the Crimea into the fast developing industrial Kharkov. The war starts when they were there.

The main character's senior brother joins the army and dies in the first days of the war, the father and mother are shot by Nazis among thousands of Kharkov Jews, and he himself with the help of many other people — Ukrainians, Russians, Germans, and Americans, manages to survive.

After many years of wandering all over the Nazi Germany he again goes back to Kharkov after the war already without his relatives.

Life goes on. Retribution to the rascal who was guilty of the main character's family death, and curing time calm down his soul but he cannot forget what happened. Drobizkiy Jar and Nazi concentration camps which he was forced to pass and his losses — all these stays in his soul while he is still alive.

The book is ended with an essay which is called "Mysteries of Drobizkiy Jar" and describes a number of "black spots" in the history of this tragedy, and brief information about the memorial that is being built now at the place of mass shooting of Jewish population of Kharkov.

Содержание

Слово о «молчании Бога» 3

Рождение замысла и судьба романа 13

Окончательное решение, или Жизнь и приключения Люса Флинкера (первые главы исторического романа) 22

Интродукция 22

Глава первая. Мои евреи 27

Глава вторая. Свиньи в синагоге 50

Глава третья. Мигранты 77

Это случилось в XX веке (киноповесть в 94-х сценах) 100

Загадки Дробицкого Яра 154

Дробицкий Яр сегодня (Вместо эпилога) 169

Резюме 171

Summary 173

Літературно-художнє видання

Яковлєв Лео

ГОЛОКОСТ
і
ДОЛЯ ЛЮДИНИ

Російською мовою

Редактор *О. В. Трефилова*
Художник *Б. М. Каган*
Коректор *О. В. Вєтрова*
Комп'ютерна верстка *А. С. Похили*

Підп. до друку 10.02.2003. Формат 60×90/16. Папір офсет.
Гарнітура AG_Souvenir. Друк офсет. Ум. друк. арк. 11. Обл.-вид. арк. 10.
Наклад 500 пр. Зам. №1148

ПФ «Каравела»
Держпром, 1-й під., 4-й пов., кімн. 92, Харків-200, 61200.
Тел.: (0572) 43-06-22, факс (0572) 43-61-63,
e-mail: bookra@kharkov.ukrtel.net

Друкарня ДП ХМЗ ФЕД,
вул. Сумська, 132, Харків-23, 61023.
Тел./факс (0572) 19-67-82; тел. (0572) 40-22-51.
E-mail: prhousefed@yahoo.com